

Астафьев Алексей

9+1



Алексей Астафьев

9+1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23864416

ISBN 9785448507762

Аннотация

Но Чахлаш так просто не сдавался, он выбрал левый глаз в качестве ответчика и решил сверлить его до потери пульса. Минут через пятнадцать потерялся периферийный фон, вместе с ним исчезло время и исказилось пространство восприятия.— Что, экспериментируешь?— Да нет...— Ищешь вчерашний день? Ну чего ты мечешься, как тигр в клетке... успокойся, дружище, все должно получиться хорошо...— Как я, — говорит Чахлаш, — успокоюсь, когда ничего не понятно. Ну, скажи мне — кто я такой, чтобы успокоиться? Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Пролог	6
Часть первая. 9/1	12
9. Жизнь девятая. Франция, времена Людовика XIV. Мужчина	13
+1. Николай Боков	30
9. Жизнь вторая. Территория нынешнего Аравийского полуострова (тогда часть материка). X век до н. э. Женщина	38
+1. Николай Боков	45
9. Жизнь третья. Территория нынешнего Вьетнама. III век до н. э. Женщина	53
+1. Николай Боков	59
9. Жизнь четвертая. Русь Киевская. X-XIV вв. Мужчина	69
+1. Николай Боков	79
9. Жизнь шестая. Япония 1349—1401 гг. Женщина	94
+1. Николай Боков	109
9. Жизнь седьмая. Россия 1500—1560 гг. Мужчина	118
+1. Николай Боков	140
9. Жизнь восьмая. Россия 1608—1632 гг. Мужчина	147

+1. Николай Боков
Конец ознакомительного фрагмента.

154

159

9+1

Алексей Астафьев

Дизайнер обложки Юлия Юрочка

© Алексей Астафьев, 2019

© Юлия Юрочка, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4485-0776-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*«Если из истории убрать всю ложь,
то это совсем не значит,
что останется одна только правда – в результате
может вообще ничего не остаться»
Станислав Ежи Лец*

Пролог

В последнее время я все чаще чувствую себя странно. Будто бы всматриваюсь в себя со стороны. Всматриваюсь-всматриваюсь, вслушиваюсь, смотрю в зеркало, не просто так, а во все глаза *смотрю* и... не узнаю. Я совершенно теряюсь в такие моменты. Не то чтобы становится страшно... скорее любопытно. Что можно ожидать от этого человека? Кто он такой? Кто задает эти вопросы? И куда подевался тот я, что никогда не впадал в такие странности?

По мере движения времени эти состояния приняли более устойчивые формы. Так, словно во мне начало расти что-то новое. Какой-то новый воспринимающий орган. Он все ставит под сомнение. И вместе с тем не вносит ни беспокойства, ни разделения. Будто бы сомневаться во всем вполне естественно. Память при этом стала регулярно вытаскивать на поверхность картинки далекого детства и позабытых времен юности. А еще запахи. Например, как пахнут руки, после помывки в дворовой луже. Или острый уксусный аромат ржаного хлеба, открывающий себя при повышенной температуре тела. Разные вещи являлись и исчезали. Никакой специальной причины для их возникновения не находилось. Они не имели ни системы, ни понятной классификации, ни видимых оснований. Порой я пытался хоть как-то осмыслить это. Получалось редко. Чаще всего мысли разбегались как

тараканы на включенный свет. И я, сквозь едва приоткрытые глаза, лишь констатировал их хаотичное бегство, не в силах ухватить хоть сколь существенный контекст. В лучшем случае удавалось перекинуть шаткий мостик через ущелье сознания в неизвестную, пульсирующую в темных тонах шарообразную структуру. Она надвигалась на меня, увеличиваясь в геометрической прогрессии с гулким, нарастающим монотонным звуком, который в своей заключительной стадии становился устрашающим и жутким. Так я вспомнил свои детские кошмарные сны. Я забыл про них уже давным-давно, где-то с начала подключения памяти. Как будто их и не было. А теперь вспомнил. А ведь они преследовали меня не один год. Животный ужас, которому я подвергался под их воздействием, был такой исключительной силы, что я орал и дергался как при акте экзорцизма, а биение сердца походило на пулеметную очередь. Самое странное в них то, что как бы я не пыжился – мне не удастся описать их понятнее. Они неимоверно реалистичные и вместе с тем почти беспредметные. Я думаю, они ближе к тому месту, из которого мы вышли и куда со временем вернемся. Это некая граница миров. Трудности перехода.

Общее направление новых переживаний можно оценить так. Нечто во мне растет и крепнет, а то, что до сей поры управляло моим телом – сдает территорию. Так, словно всю ткань моей жизни решили распустить как старый, ныне не модный свитер. И теперь скручивают в плотный шерстя-

ной клубок. Для чего? Я иначе стал смотреть на мир. На старые дома при въезде в город – я с детства их не видел *такими*. На диван, на котором сижу, на его вмятины, зачатые людьми, которых уже нет на этом свете. На разбросанные по всей комнате детские игрушки. На фонарный столб за окном, на его унылую подпорку с правой стороны, на мутный свет его лампы – я стал находить свое отражение в этой конструкции, прежде всего, в унылой подпорке, и это, как ни странно, особенно приятно. Куда бы ни посмотрел – вижу множество отдельных предметов, но все они как будто слиты воедино прозрачной всепроникающей субстанцией. Как заливное из множества ингредиентов. Они отпечатываются в моем сознании и уходят куда-то, оставляя за себя вкус тихой печали. Вначале я силился вникнуть в их значение и разгадать символику. Но оставил это занятие. Оно лишь нагоняло безысходную грусть и усталость и шло вразрез с естественным течением воли. Мне бы хотелось считать, что идет некая грандиозная реконструкция глубинных устоев. Что со временем все разрозненные пазлы сложатся в цельную многомерную композицию и сольются с обыденным восприятием, непредсказуемо, но впечатляюще расширив его границы. Случается, что я начинаю верить в это. И ждать наступления перемен. Пока я жду, в голову приходят разные мысли. Но по-хозяйски доминирует мысль о смерти. Интересно! А те люди, которым через день или час суждено умереть, может так же как и я ощущали перемены к лучшему

и были через край переполнены жизнью? Может быть, они так же на все сто были уверены, что самое настоящее и увлекательное только начинается! А раз так – смерть еще за горами! Иначе – к чему такие прелюдии? Не может быть! И тут – хлоп... И тебя нет. А почему бы и нет? Да нет и *все! Все...*

Помню, как возвращался с беременной женой с юга. Вторые сутки пути, позади две тысячи километров, впереди каких-то пару сотен. Морось, грязь, туман, августовская непроницаемая ночь. Казалось бы – будь осторожен! Езжай аккуратнее – на безопасной скорости, ведь в итоге разница во времени ничтожно мала!? Но нет! Какая-то неукротимая сила вжимает педаль газа в пол! Сто пятьдесят по узкой, извилистой и холмистой дороге, ориентируясь на стоп-сигналы таких же баловней судьбы, как и я. Каково! Ни тебе обочины, ни разделительной не видно. Ехал и думал – *вот так* неужели и умирают люди? Неужели *так вот* и вклинивается *нечто* и жмет гашетку до отказа. Неужто едут люди, думают о смерти и умирают? Не доезжая десятка миль до дома. Умереть за 10 шагов до олимпийской ленточки. Каково это? Думали ли они о смерти в этот миг?

Я не против смерти. Но очень не хочется умереть так ничего и не поняв в *жизни*, будучи *живым*. Не страшно умереть. Страшно и обидно умереть неотесанным чурбаном. Страсть как не хочется пропасть зазря. Тому мне, который сейчас пишет эти строки, глубоко наплевать на то, что с приходом смерти все тайны могут открыться. Чего ради ломать

голову, чтобы так ничего и не узнать о *ней*? Я неоднократно балансировал на грани жизни и смерти. Казалось все – приплыл... *finita la comedia!* И каждый раз перед смертью я думал о пройденном бессмысленном отрезке пути, который так же нелепо и обрывается. Кто знает – быть может именно эта мысль и возрождала меня, авансируя к свершению чего-то достойного начатой жизни? Или нет?

Так или иначе, но я благодарен за мою жизнь *тому*, кто имеет антисмертельную причину на это. И если случается уклониться в сторону, ссылаясь на человеческую слабость и ища утешения в кривых дорожках, то штопаная рана, онемевшая и смертельно белая сжимает в своих тисках мою малодушную праздность... *Разве за этим ты еще жив?* И вся шелуха летит прочь, обнажая главный вопрос. *Кто есть я?*

И вот я ищу ответ на мою жизнь. Почти как в кино «Трасса 60». В нем главный герой встретил исполнителя желаний. Мне же посчастливилось узнать человека, с помощью которого я вспомнил прошлые жизни. Их всего девять. А сейчас соответственно идет десятая, которая, сквозь собственную призму описывает предыдущие.

Последовательность не хронологическая, а та в которой они на меня свалились. Я не углублялся в специальное изучение исторических документов тех времен и народов во избежание искажений чувственных образов. Однако по этой же причине я рискую показаться профаном в кругу знатоков истории и потомственного уклада. Но мой при-

оритет – не внешнеисторический аспект, а внутриличностный. А раз так – решено. Как говорила моя бабушка: «Дурак не поймет, а умному ни к чёму».

Сходство персонажей с реальными людьми маловероятно, но возможно и лишь в лицеприятных местах. Там же где начинается неприязнь – заканчивается частный сектор и рождается социальная форма художественного замысла. И только.

Часть первая. 9/1

Кредо

*«Воистину, жизнь тяжела и опасна;
воистину, взыскующий счастья не обретет его;
слабый – обречен страдать;
жаждущий любви разочаруется;
скарредный – не насытится;
стремящийся к миру – получит войну;
воистину, правда существует лишь для храбреца,
радость – для того, кому не страшно одиночество;
жизнь – для того, кто не боится смерти».*
Джойс Кэри.

9. Жизнь девятая. Франция, времена Людовика XIV. Мужчина

Франсуа Лякре Дабуа являл собой восхитительный образец великосветского утонченного вельможи. Он проживал со своей семьей при дворе Короля-Солнце и имел в распоряжении внушительную химико-исследовательскую лабораторию. Нраву Франсуа Лякре никогда не была присуща догма, если не считать таковой дух религиозности и почтительности, мягко отражаемый всеми лицами уважаемого семейства. С легким румянцем на восковых щеках и вечно подпернутой верхней губой, создающей впечатление улыбающегося манекена, он непременно находился в потоке упорядоченного движения. В его действиях сверкала военная четкость и определенность. Свобода во взглядах прекрасно уживалась в нем со всяким отсутствием мнительности и двусмысленности. Тонкие сухие длинные пальцы первоначально создавали обманчивое впечатление эмоциональной возбудимости, свойственной братии искусства, но, понаблюдав обстоятельнее, становилось ясно – никакого намека на дрожь и импульсивность у их владельца не было и в помине. Высокий рост в метр девяносто два, узкое овальное лицо и широкие плечи так же едва вязались друг с другом; однако на фоне общей асимметрии, при детальном изучении, получалась вполне органичная субстанция. А уж когда Франсуа что-то

творил или экспериментировал в своей лаборатории, то уж не сомневайтесь – он был в своей тарелке. Одержимости не было, ибо рука всегда твердо держала реторту, а непредсказуемые химические казусы никогда не отражались изумлением на его безмятежных линиях лица. Призвание? О, да! Это было призвание!

С самого раннего детства я восхищенно разглядывал лабораторию моего отца Франсуа Лякре Дюбуа. Меня переполняло чувство восторга от изобилия кипящих в ней процессов и явлений. И что весьма необычно – оно не притуплялось день ото дня, как это бывает с чем-то преходящим. Ореол таинственности и волшебства манил к отцу и его лаборатории словно магнитом и до позднего вечера я оставался с ним. А когда приходила пора спать, я тайком вылезал из постели и подглядывал за его опытами. К пятнадцати годам я знал химию на уровне молодого профессора, а в чем-то и лучше. Как-то раз, когда отцу пришлось уехать на три дня в соседнюю провинцию, я самостоятельно принялся штурмовать неугомонную алхимическую дилемму. Почти двое суток прошло в упорном сражении с реактивами и реакциями. Итогом второй рабочей ночи явились красные воспаленные глаза и возбужденная психика. Это и привело к плачевной ошибке, в результате которой приключился роковой взрыв. Я упал на пол, утянув за собой дюжину склянок. В голове мерцало одно – ЛИЦО, ЛИЦО, ЛИЦО. На месте правой щеки я нащупал влажное обожженное мясо. Страшней-

шая боль с паническим воем ворвалась в сознание. Что делать? Яйцо! Я в пять секунд добежал до кухни, разбил яйцо и пропитал им носовой платок. Скрипя зубами, приложил ткань к лицу. Так я просидел три часа. Еле переносимая дерготня и дикая боль пошли на убыль. Рассвело, пришла мать и попросила показать лицо. Как только я убрал платок, она вскрикнула «Mon Dieu¹» и упала в обморок. Я растегнул верхние пуговицы ее платья и плеснул воды. Придя в себя, она начала плакать и причитать. Пришла пора самому оценить свой новый вид. Несмотря на слабость освещения, в зеркале отчетливо проявился зловещий урод с выворотным на изнанку ликом.

Два долгих месяца я прозябал в глубокой депрессии. Короткие нервные сны порой приносили картины из беззаботной жизни, где я лучился радостью и удовольствием. Тем тяжелее было возвращаться в ненавистные реалии к унижительному отчаянию. В то время, когда я всерьез стал задумываться о самоубийстве, отец отвез меня в частный дом убогих богатеев, оплатив содержание за пару вводных дней.

По обе стороны от моей комнаты располагались еще две. Одну занимал сам хозяин дома инвалидов мсье Сантеру, а во второй проживала вдова Круажьон. Комнаты, надо сказать, были основательно продуманы и своим наполнением вызывали увесистый терапевтический отклик. Интерьер опустим, ибо тут особого блеска ума не требовалось.

¹ Mon Dieu – Боже мой (фр.)

А вот истории пребывания предыдущих постояльцев с первых дней и до выписки, их биографии, дневники, периоды опустошенного дна и воодушевленных подъемов...

Мсье Сантеру сказался весьма любезным и уделил мне целиком первый день пребывания в Доме «И». Мсье Сантеру родился в богатейшей семье судовладельца. Родители предвкушали появление на свет чудесного малыша, завидного жениха и покорителя женских сердец знатных кровей. Однако от безоблачной жизни ребенка и его создателей оградили досадные физические недоимки – отсутствие носа и полового органа. Вряд ли возможно описать все муки и страдания человека, не познав это изнутри, не побывав в его шкуре. Кому-то по нутру принять все как есть, а кому-то нет. В двадцать лет мсье Сантеру остался сиротой. Смирившись со своими недугами, он легко пережил смерть родителей, оставивших ему пожизненное состояние. Не то чтобы он их не любил или преследовал меркантильные цели, нет. Он узрел совсем иной смысл в ударах судьбы и общепризнанных ценностях. Мсье Сантеру очень многое мне поведал в нашей беседе. О своей кличке «sanglier²» и о девчонках, шарахающихся от него как от чумы. О сверстниках, чьей жестокости не нашлось названия; о безмерности одиночества, обернувшегося светом понимания и доброты; о слезах благодарности к своей судьбе, вытеснивших ненависть и проклятие к миру; и еще о разных предметах и явлениях, каждое из которых

² Sanglier – Дикая кабан (фр.)

достойно того чтобы жить в радости и упокоении. Мы говорили до тех пор, пока рассвет не забрезжил в дружелюбном ночном воздухе, а на столе не опустела третья бутылка чудесного вина прошлого столетия. Напоследок он сказал мне вот что:

– Мой милый мальчик, ты даже и не представляешь, какой шикарный подарок преподнесла тебе судьба, превратив твое лицо в маску ужаса. Здесь кроется причудливый божий промысел, распознав который ты обретешь счастье бытия. А пока он неведом тебе, посмотри на моих постояльцев, поговори с ними. Вот увидишь, это будет большая польза. Иди, спи, мой милый мальчик. Настает великое время – долой белые флаги! В огонь их! В огонь! *Vonne nuit mon cher ami*³.

– *Vonne nuit*, мсье Сантеру.

Я разделся донага и забрался в постель. Пуховые перины приняли меня в свои объятия, заботливо и успокаивающе соприкасаясь с телом. Почему раньше мне не приходило в голову спать без пижамы? Какая прелесть! Я сладко потянулся, и свернувшись калачиком отдался на волю сновидения.

Сон как обычно стался странным, но необычным в своей странности. Будто бы король объявил во Дворе жестокую игровую бойню своим подданным. Я видел себя со стороны очень решительным и энергичным. Понятно было, что я еще держусь в игре, только благодаря своей наглой решимости взгляда. И тут король подошел ко мне, тому мне, который

³ *Vonne nuit mon cher ami* – Спокойной ночи, мой милый друг (фр.)

наблюдал за собой и за всей картиной игры и сказал: «Ты будешь бороться со мной!». Таким образом, меня стало уже двое. И я ясно знал, что тот я, за которым я наблюдал, был явно сильнее и агрессивнее меня-наблюдающего и что он уж точно что-нибудь придумал бы. И тут осенило. Со всего размаха я отвесил королю sur la museau⁴ и произвел силовой захват напомаженной шеи. Пудра с лица и шеи короля осыпалась на мои манжеты и залетела в нос. Я со страстью и размахом чихнул, усилив в неконтролируемом спазме и без того суровую плечевую удавку и велел приказать страже отступить и бросить оружие боя. Наконец-то! Победа! Но было непонятно, что со всем этим делать дальше – то ли бежать без оглядки, то ли всех поубивать... Выход нашелся сам – я пробудился.

Разносящийся отовсюду звон посуды и галдеж заполнили большую часть пространства моего ума. Таковым естественным способом, как я узнал впоследствии, призывали к утренней трапезе. По привычке, ощупав сморщенную кожу на лице, я не впал, как бывало раньше в уныние и это воодушевляло. Новое чувство похожее на умиленное созидательное смирение овладело мной. Я вспомнил слова мсье Сантеру: «Мой милый мальчик, твой жуткий обожженный вид – это не кара, это плата за вход в новую жизнь истинных открытий». Ах да, мне же привиделся проказный сон. Я ...король... еще один я... король стал моим заложником... Ха-ха-ха, я въехал ему

⁴ Sur la museau – по морде (фр.)

sur la face⁵! Ой-ля-ля...

В дверь постучали.

– Войдите!

– Бонжур! Молодой мсье желает, чтобы завтрак принесли сюда или же он позавтракает в общем зале?

– А где завтракает мсье Сантеру?

– О-о-о, мсье всегда это делает в общей столовой.

– Много ли там желающих?

– Все постояльцы нашего Дома, за исключением мадам Круажьон, она сегодня предпочитает завтракать у себя, хотя порой и не завтракает вовсе...

Сказав это, гарсон развел ладони, скорчив двусмысленную физиономию с недоуменно поднятыми бровями. Он при этом улыбнулся, обнажив редкие длинные зубы и красные мясистые десны над ними.

– Когда выходить к завтраку?

– Самое время. Вам прислать лакея?

– Мерси, я предпочитаю одеваться сам.

С периода унижительного преобразования мне стало неприятно видеть жалость на лицах прислуги, и я отказался от помощи. Столовая разместилась в южной части второго этажа, где-то прямо под моей комнатой. Едва я взошел туда, как заметил мсье Сантеру. Он стоял в центре богатого на своды помещения и своим чарующим баритоном стелил маринадные выдержанные словеса сидящим по обе стороны

⁵ Sur la face – по лицу (фр.)

празднично-будничного стола постояльцам. Стол был в форме разомкнутого кольца. Те, что сидели во внутренней его части, развернулись в пол оборота к мсье Сантеру и, как и все внешние с улыбкой внимали его сладким речам. Мсье Сантеру стоял спиной ко входу. Увидев устремленные на меня взгляды, он обернулся и со свойственной ему простотой и обаятельностью представил остальной публике и усадил возле себя по левую руку. Почетное место справа пустовало. Я догадался, чья честь могла его седлать.

– Тебе еще доведется познакомиться с мадам Круажьон, – подмигивая, сообщил хозяин Дома, – всему свое время. Приятного аппетита!

Удивительно пышное и восхитительное настроение завладело всей моей сущностью. Неторопливо смакуя завтрак, я методично разглядывал окружение. Оно оказалось сборищем freaks⁶ различной степени тяжести. Практически каждый ловил мой взгляд и отвечал гостеприимной улыбкой с легким наклоном головы. Ничего более потрясающего и парадоксального мне не приходилось видеть в жизни. А самое главное – я был *своим* среди этого скопища freaks. Я насчитал восемь человек внутри круга и двенадцать снаружи. Если включить сюда меня и вдову Круажьон, то всего выходило двадцать два. Тринадцать мужчин и девять женщин. Женщины рассматривали меня с особым пристрастием. Я учтиво склонял голову, для себя принимая во внимание некую

⁶ Freaks – уродов (фр.)

сексуальную оценку их пристального любопытства. Однако в мою интимную зону эти особи женского пола не входили. Безобразное родство душ не изменило физического влечения к прекрасной и юной половине человечества. А тут самой молодой и наименее отталкивающей было порядка сорока пяти. Как странно... Эти люди очень гостеприимны и приветливы ко мне. А впрочем, какая вкусная форель, м-м-м и соус, что за несносно вкусный соус!

На следующий день приехал отец. Он с пониманием отнесся к моему желанию погостить у Сантеру еще недельку.

– Ты натурально переменялся! Мой мальчик, надеюсь вскоре увидеть тебя вновь и в столь же прекрасном расположении духа!

– Не сомневайся, отец, – я в благодарственном почтении поцеловал ему руку.

Мы обнялись на прощанье. Отец взмахнул белоснежной перчаткой и умчал. Что-то серое больно стиснуло сердце, я не мог вдохнуть, на глаза навернулись слезы. Но тревожило иное. Душу теребило чувство, будто бы я больше не увижу отца. Так и вышло. Вечером того же дня ко мне явился человек с официальной миной.

– Господин Дабуа?

– Да. Чем обязан?

– Ваш отец скончался.

– Как... как это случилось?

– Карета подъехала к дворцу, но из нее никто не вышел.

Ваша матушка, по обыкновению самолично встречающая вашего батюшку, открыла дверцу и слегла в обморок. Месье Франсуа Лякрэ лежал на полу и был мертв. Большого мне не известно. Велите сопроводить вас домой?

– Да, выезжаем через 10 минут.

– Слушаюсь, смею ожидать вас в карете.

Я присел на софу и обхватил голову руками. Я вспомнил отца в разных картинах и мгновенно зашелся сдержанными рыданиями. Что это за мир? Что здесь происходит? Почему отец? Что это такое? Зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем?

Дворцовый лекарь очень смутился при разговоре со мной. Будто бы он всячески скрывал чувство вины за совершенное преступление, а может быть просто чувствовал неловкость при общении с уродливой мальчишкой, что вот-вот перенес смерть отца.

Мать до безумия влюбленная в своего безукоризненного Франсуа находилась на грани помешательства. Порой мне казалось, что воздух вокруг насквозь пропитан влажной солью ее слез. Она не находила утешения ни днем, ни ночью. И это длилось несколько недель. Еду ей подавали через дверь, и она ни с кем не желала знаться.

Месяц прошел в искусственной тишине и неподвижности. Я не покидал своего угла, мать – своего. И вдруг как гром среди ясного неба мне донесли о желании матери говорить. Меня будто накрыло с головой холодной морской волной. Горло запершило, словно я невольно нахлебался соле-

ной-пресолоенной воды и неприятно заурчал желудок. Я выпил теплого молока и съел ложку меда.

– Сынок, я приняла решение – завтра я уйду из мирской суеты в монастырь. Ты уже взрослый и справишься сам. Когда тебе исполнится шестнадцать, ты сможешь распорядиться по-своему усмотрению нашим фамильным состоянием. Я буду каждый день молить о тебе. Будь счастлив, сынок.

Мать говорила четко и спокойно. Похудевшее лицо было бескровным и сухим. Руки, сложенные на груди отражали сердечную искренность сказанного. Я так и не смог произнести ни слова. Только кивнул и бросился к ней на грудь. Она гладила меня по голове до тех пор, пока в ней не кончились слезы, а я не успокоился.

После ухода матери я поселился в Доме «И» месье Сантеру. За это время я пристрастился к магии и мистическим книгам. Во многом этому способствовала мадам Круажьон. Когда я впервые ее увидел – был тут же сражен наповал поразительной красотой и очарованием ее восхитительного облика. Ее таинственная натура насквозь пронзила мой разум и сердце. Она была на двадцать лет старше. Пышная грудь с глубоким декольте тут же заставила неистово биться мое сердце. Ее глаза проникали вглубь моего мира и освещали самое лучшее его содержимое. Что и говорить, такой прелестницы мне не доводилось раньше встречать. Она стала моей первой женщиной во всех отношениях. Полгода мы были неразлучны. Все это время мы упивались сексом и маги-

ей. Ничего кроме этого не существовало в нашем мире. Мы не покидали своих комнат, до тех пор, пока месье Сантеру не попросил у нас разъяснений. Он обосновал это всеобщим волнением и тревожной атмосферой в доме. На тот момент мне уже стукнуло шестнадцать. И я смело предложил своей возлюбленной Софи Круажьон руку, сердце и все свое немалое состояние. Она согласилась. Мы купили в пригороде Лиона, в тихом местечке чудесный трехэтажный домик и целый месяц не спускались с третьего этажа, утоляя законную супружескую страсть. Я был на седьмом небе от счастья...

Я с легкостью поручил бремя нашего финансового состояния Софи, потому как был в этих вопросах чрезвычайно ленив и некомпетентен. Как только семейные активы сосредоточились в ее нежных, но умелых руках, она должным образом взялась за их обустройство. И с каждым днем финансовые перспективы увлекали мою обожаемую жену все полнее, так что я стал куда реже ее видеть. Реже, реже. Реже... Пока в один из вечеров Софи вовсе не вернулась домой, зато на утро пришло письмо. От нее.

Дорогой, Мишель!

Обстоятельства вынуждают меня покинуть тебя навсегда. О, я так не хотела этого, но, увы, они слишком серьезны. Я никогда не рассказывала тебе о своем прошлом. А оно крайне мерзко. В нем сокрыта ужасная тайна. Прошу тебя, если можешь – прости, мой любимый, единственный друг, прости... Я плачу, когда пишу все это (на бумаге

и в самом деле были заметны волнистые потертости, которые могли быть следствием слезных капель). Ты молод, и многое не сможешь понять, поэтому я и не взываю к пониманию. Умоляю лишь простить меня и поверить в то, что иного выхода у меня нет. Ради тебя я приоткрою завесу моей страшной тайны. Я связана со смертью очень важной персоны. И это все, что я могу сказать. Мишель, я взяла большую часть наших сбережений. Но тебе оставила достаточно, чтобы прожить безбедно добрый десяток лет. К тому же я разместила их в самых удачных инвестициях. Наш поверенный тебе все объяснит. Надеюсь и очень рассчитываю на то, что в течение семи – девяти лет я обязательно верну тебе одолженные средства. Возможно, ты и раньше их получишь, но это только в случае моей невольной смерти. Не вздумай искать меня или поднимать хоть какой-то шум вокруг моего бедного имени. Это слишком опасно. Я буду думать о тебе каждый божий день, и молить Господа о твоём благополучии.

Целую. Обнимаю. Твоя Софи.

ПС: Все еще не перестаю верить, что когда-нибудь, каким-то чудом мы будем снова вместе.

Я не был выбит из колеи. Ожог, смерть отца, уход матери – все это не прошло даром, я закалился и не впал в уныние. Напротив – принял весть весьма спокойно и хладнокровно. Я с головой окунулся в чувство жертвы. И был счастлив и горделив в нем. Самопожертвование! Как это романтично и су-

щественно! Я буду ждать тебя, любимая, ни о чем не беспокойся. Мне есть чем занять свой досуг...

Весь второй этаж был превращен в алхимическую кузницу и небольшую специально подобранную библиотеку. Основную часть времени я проводил именно там. Я стал нелюдим и крайне тяжело сходилась с людьми. Первые несколько лет после разлуки я вспоминал ее каждую ночь. Но годы делали свое *временное* дело, стирая ее образ без жалости и надежды. Где-то лет в тридцать мне уже нечего было вспоминать. Память оказалась обманом, как и все, что было связано с этой женщиной. Однажды, после очередной мастурбации я возненавидел Софи и сжег ее послание. Вместе с ним я выбросил из своего сердца и ее саму. Я заорал в исступлении: «Сука! Будь ты проклята! Софи, ты обманула меня! Ты воспользовалась мной, чертова колдунья!»

*За занавеской, в пыльном смраде
Перегнивал алоэ-вера.
Его хозяйка с тучным дядей
Парит в Париже как фанера
Она от блеска позабыла
Про боль, которая лечила,
И про судьбу, и про обеты,
Про танец духа дуинным летом.
Сочится радужная плесень
На недостроенную башию,
Почти дошла, был мир чудесен —*

*Была готова к севу паишня.
Но остановка без обьявы
Смутила обаяньем денег,
И сладкий аромат халявы
Поставил душу на колени.
Уже потом, спустя столетье
Вернулась воробьем пугливым,
В окно взглянула снизу третье —
И боль опять ее лечила...*

Конечно же, никаких денег от нее не поступило. А тем самым к тридцати двум годам мое состояние оказалось плачевным. В ту пору в моде были разные духи. Способные составители духов довольно прилично зарабатывали на этом. И я решил попытаться счастья. Необходимые навыки у меня были, а возможности позволяли. И вот удача, дело пошло! Да еще как! Я прославился этим своим ремеслом! Важные придворные дамы и даже некоторые привилегированные особы из соседних государств состояли в числе моих постоянных клиентов и почитателей. И вроде как я начал возрождаться к чему-то человеческому и мало-помалу вести беседы с людьми. Подумывал даже о создании школы по изготовлению духов. Да что-то как-то не вышло. Видимо, лень. Да и люди – хоть и уважали, а смотреть как на обычного человека так и не научились. Уродство мое их сильно смущало. Мне не за себя, за них неловко было. И пришло все к тому, что заработав денег на безбедную старость, я оставил духовные дела.

И опять занялся прежним – химической магией.

В сорок лет мою серую однообразность жизни нарушила женщина. Она была одной из фрейлин королевской свиты. Она пришла ко мне по просьбе королевы. Все дело было в том, что ей, то есть королеве, нужны были особенные духи со специальным эффектом, подробно описанном в прилагаемом письме, которое по прочтении я тут же сжег на глазах фрейлины. Ну, что тут скажешь, втрескался я в эту фрейлину как мальчишка. Как будто крышу с головы снесло. Ни о чем думать, кроме нее не мог. Только о ней, да о ней. Когда она вернулась через пять дней за заказом, я весь пылал страстью. Я переволновался, но всё же вложил максимум галантности и обходительности в свой облик и преподнес ей королевскую прихоть. И пригласил присесть. Но она наотрез отказалась. Видно было, что боится меня. А когда вручил подарок – специально для нее составленные духи и масла, то заметил брезгливое пренебрежение во взгляде. А ведь я так старался! Глупец! На что ты мог рассчитывать? *Avec une telle queue!*⁷ Это заставило меня сильно страдать и мучиться. Сильно страдать и сильно мучиться. Но что поделать? *C'est la vie.*

Больше я ничего не помню. Жизнь будто бы выцвела и растворилась в воздухе. Я вконец выродился в глухого затворника, а в 62 смертельно отравился парами химических реагентов, разбавив память людей множеством эпатажных

⁷ *Avec une telle queue* – С такой-то рожей! (фр.)

историй, споров и небылиц. Одни считали меня гадким чернокнижником, другие спятившим самоубийцей, третьи еще Бог знает кем. А что они знали о себе?

+1. Николай Боков

Боков

Боков Коля брел по пустынной ночной трассе. Он не хотел знать кто он такой, куда и зачем идет, что и где происходит и разное другое, что в недалеком прошлом являлось центром его жизненного вращения. Голова Коли отказывалась думать и хотеть. Ей было достаточно находиться в белой плотной кепке с длинным козырьком. Сумерки переходили в окончательную стадию и тут внезапно, словно фантом, из-под неба вынырнула летучая мышь и спикировала на белую мишень, проткнув острыми коготками ткань и онемевшую толстую кожу затылка. Не встретив сопротивления, ночной хищник испарился еще более резко, чем появился. Несколько малюсеньких капелек крови смешались с солевой прослойкой давно не мытой головы, да спустя пару сотен шагов так и засохли. Соразмерно сворачиванию крови снаружи, внутри головы активировался процесс стимулирования сознания. Не было и речи о том, чтобы сравнить его с мыслительной деятельностью обычного человека. Помимо четкого плана действий, несомненно, спущенного из внешнего контролирующего источника, в горе-голове Коли Бокова было кое-что еще. Что-то, имеющее отношение к истоптанной и затертой до беспомысленности некогда любознательной личности. Словно пометки на полях периферийного сознания.

ния, не имеющие собственной воли и лишённые права выбора. Существующие лишь по причине абсолютной незначительности и безвредности. Что же они из себя представляли? Несколько обрывочных фрагментов вырванных неизвестно кем и для чего. В первом был зал кинотеатра, большой экран и мягкое затёртое велюровое кресло, обволакивающее бушующее восторгами тело подростка. На экране Питер Уэллер в роли робокопа резкими рывками содрогался от пронизывающих механический мозг эмоциональных картин человеческого прошлого. Мерцающий свет, реле. Чужой голос №1 спрашивает – где грань? Чужой голос №2 отвечает – ничего нет. Второй эпизод состоял из серии риторических вопросов, бегущих в строке. Летучая мышь – их агент? Или ее использовали втемную? Она вприснула информационный носитель или переключила канал передачи входящих данных? Насколько она в курсе программы? Выполняет разовые поручения или наделена более широкими полномочиями? В третьем сквозило безнадежное отчаяние зависшего компьютера, не способного примирить несколько конфликтующих программ. На том побочные построения рассеялись, очевидно, заблокированные предохранительным автономным механизмом стабильности базовой системы.

Теплая черная ночь. Две одинокие ступни идут вперед. Шелест трав и сиплое шарканье подошв по наждачному асфальту. Колина рука за пару секунд до звонка тянется в карман за телефоном.

– Алло...

– Коль, что с тобой происходит? Я ничего не понимаю. Мне страшно за тебя. Неужели ты не видишь, что тебя просто зомбировали эти вонючие придурки, а? Ко-ля? Не молчи, слышишь? Ко-ля? Але? Ты здесь? Але?

– Здравствуй, Мария...

– Привет...

– По-моему, ты немного не в себе. Ты выпила, а это не ускоряет решение имеющихся у тебя вопросов...

– Коль, да причем здесь это-то, да все это фигня, ты сам-то неужели не врубаешься, что стал марионеткой этих долбаных сектантов, ты... ты сейчас где, а?

– Мария, успокойся, все в порядке, никто никого не зомбировал... Я на трассе, иду в ближайший... ммм... Моя машина не едет – бензин наверно кончился...

– ЧТО? Ты с ума сошел? «Наверно кончился бензин?» Коль, ты совсем что ли охренел? Да как такое тебе в голову могло придти? «Наверно кончился бензин». «Наверно бензин кончился!» Ты, что совсем не считаешь ни черта? Коля... ты что под кайфом?

– Я сейчас машину остановлю. Она скоро приедет. Маш, ты протрезвись сначала, ладно? Я это так сказал – в шутку, у тебя у самой мозги уже набекрень, поняла? «Под кайфом?». Был бы я под кайфом – мне бы вообще все пофиг было. Так что ты не умничай, а ложись-ка спать, ага? И вот еще что – мы давно уже порознь, так какого хрена тебе до меня

дело? Ты что такая умная, да? Знаешь все, что кому надо делать и не надо, да? Мать Тереза что ли? Иди ты в жопу со своей заботой, понятно?

– ...Коля, да ладно, ну, я просто... мне показалось странным, ты сам-то... как ведь... тогда-то помнишь, ну, кстати, ладно ...извини... да пошел ты сам в жопу!!!... (Пип-пип-пип-пип)

Боков Коля спокойно убрал трубку и присел на валун под фонарем. Курить не хотелось. Выпить тоже. Эмоциональный напор был чистой манипуляцией. Чего не скажешь про Машку, которая еще под звуки рассыпающегося по полу телефона махнула залпом бокал чего-то забористого и тут же закурила. Когда в желудке у Марии зажгло, нервное напряжение стало таять вместе с солеными слезами, по какой-то причине вечно попадающими на язык.

Коля чистил пальцами семечки и ловко закидывал их в рот. Он решил рассчитать – через какое время появится попутка. Долго думать не пришлось – подсказка вынырнула при взгляде на пястку семян – сразу, как только она перекочет в рот.

Внезапно семечки стали то уменьшаться, то увеличиваться в размерах, словно они задышали...

Ψ

...Ко стоял посреди сюрреалистичного дикого места. Утопию замысла подчеркивала бензоколонка и один единствен-

ный шланг с 92 бензином евро-категории. Шланг в руках у Ко. На сырой земле, как будто покрытой черной плесенью и серой пылью стояла четырнадцатилитровая канистра, в которую медленной тонкой желтой струйкой стекал 92-й. Тягомотина страшная, но что поделать – миссия требовала исполнения. Кем была поставлена такая занудная задача неизвестно, но присутствовала немая безальтернативность, а стало быть – лучше молчок... Как только уровень в канистре достиг максимальной отметки, неизвестно откуда появился неизвестный же мужчина южной наружности. Он был похож на пятидесятилетнего Митхуна Чакраборти. Глаза его насквозь пропитались усталостью переходов и тоской по Родине. Казалось, он и сам не знал, как занесло его в этот далекий сердцу край, но видно было и то, что силы мириться и торговаться со своей путеводной звездой у него давно на исходе. Белки Митхуна растрескались кровяными бороздками, и словно отдаваясь во власть некой сокрушительной покровительствующей сути, разрешили опылить себя желтым налетом. Этот налет как бы сдерживал от окончательной гибели, но взамен арендовал рулевое управление в свои руки. От этого у Митхуна никогда не прекращалась страшная жажда. Он поднял оранжевую пластиковую канистру с надписью «14L» над головой и за несколько секунд осушил ее, а после аккуратно передал Николаю.

Ко смотрел на странника и испытывал смешанные чувства до тех пор, пока последнему не позвонили. Разговор в основ-

ном крутился возле выпитого бензина, на другом конце провода советовали немедленно обратиться к врачу. Ко в свою очередь предложил опорожнить желудок, пока не поздно. Лицо Митхуна, меж тем приобрело роковую болезненность и смертельно осунулось, обнажив на обеих щеках по одинаковой язвенной болячке. Чакраборти вопреки настоятельной просьбе Николая не спешил переходить к очистительным процедурам и продолжал неспешный диалог по мобильному телефону на неустановленную теперь уже тему с так и не прояснившимся собеседником.

Как странно, – думал Коля, – почему же этот южанин не падает и не умирает? Мне бы и четырнадцать литров *воды* хватило, чтобы отправиться в последний путь, а тут...

И тут Ко перешел на следующий уровень.

Его руки были в карманах, ноги в резиновых сапогах, но, несмотря на это и те и другие неприятно мокры и холодны. Вдобавок ко всему он находился в захолустном сыром месте, но захолустном лишь настолько, насколько это возможно с убегающей в неизвестность и как обычно в двух направлениях железной дорогой. А самое неприятное было в том, что у него за спиной тянулись какие-то мутные и недостойные дела. Установить первопричины, и отследить всю цепочку спуска по наклонной было невозможно. Такая данность. Такие условия. Плюс ко всему, и это, пожалуй, самый отвратительный плюс – Ко угнетало непобедимое прогрессирующее похмелье.

Из жиденькой рощицы как бы нехотя, по великой обязанности выскользнул небольшой состав из локомотива, глухого вагончика и открытой платформы, напоминающей ископаемую баржу. На платформе копошилось несколько человек, среди которых Николай узнал свою старую знакомую Светку. Как-то сразу стало понятно, что направление пути ему подходит. И он ухватился за ускользающую возможность и запрыгнул на песчаный, прогретый чужим солнцем стан.

Третий уровень.

Коля заходит домой и перво-наперво снимает сырые носки, натягивает колючие шерстяные и переобувается. Дом совсем не тот, который мил душе и разуму. В этом доме он проживает с укоряющей одним своим присутствием матерью. И дело тут совсем не в том, что мать несносна, мать как раз таки наоборот – большая умница и миротворец. Но раз Коленька оказался здесь, то провокационные причины должны находиться опять-таки за пределами уважения и достоинства. И мать своей чистотой выжигает по живой еще *совести* Ко, словно серебряным распятием по утратившему *образ* телу вампира.

Ко как можно скорее жаждет переодеться в сухое и теплое и слинять, и ожидает назидательного сопротивления со стороны матери. Но вопреки ожиданиям, мать говорит что-то спокойное и расслабляющее и вместо того чтобы препятствовать помогает собраться в нужную *форму*, выдает карманные деньги и отпускает. Похмелья ведь на третьем уров-

не никто не отменял. Коля в легком недоумении, он чувствует излишнюю колкость шерсти на босых ногах и, пользуясь мирной реакцией материи, доброискательно подумывает о смягчающей прослойке хлопка, но прикинув, ставит эту процедуру в разряд сложных и ретируется в теплом, но неуютном настроении.

9. Жизнь вторая. Территория нынешнего Аравийского полуострова (тогда часть материка). X век до н. э. Женщина

Я родилась в жаркой, богатой солнцем, фауной и флорой обстановке. Где-то не так далеко от экватора. Нашу семью, вернее, наши семьи в ту пору отличали полигамные отношения. Мужчины могли иметь до двадцати жен, а жены – до двадцати мужей. Несколько десятков подобных семей образовывали племя. Сотни племен соединялись по однокоренным критериям в род, а десятки дружественных родов объединялись в лагерь, который в итоге мог насчитывать триста тысяч голов. В одном из таких, кишящих жизнью и смертью человеческих пристанищ я появилась на свет. Кроме меня в этот день родилось еще восемь девочек. По стечению суеверных обстоятельств, день нашего рождения стал днем рождения девочек, которых по достижению восемнадцатилетия надлежало принести в жертву богам. Подобная дань богам считалась в высшей мере почетной и героической. Много веков назад наши всезнающие жрецы выявили безусловную непреложность реализации жертвенного ритуала. Уж не знаю – как им это удалось понять? Да... были же люди раньше, настоящие испо-

лины духа и гиганты разума! Они же разработали деликатную и удивительно эффективную программу подготовки души и тела к жертвоприношению. Программу воспитания запускали с самого раннего детства (с 3—4 лет) и проводили до великой Жертвы. Страхи и сомнения в ожидании запрограммированной кончины обрабатывались мягко и снимались убедительно. Смерть с годами становилась торжественной и привлекательной. Я слышала, что в других лагерях, где-то далеко-далеко от нас, жертв выбирают накануне обряда и без всякой тренировки – какой ужас, какие злобные и бессердечные нравы! А в некоторых – якобы убивают новорожденных младенцев! Вопиющая дикость!

Едва я успела вкусить необъятную прелесть жизни в бесчяих играх и разномастных светопреставлениях, как мне открылась чудовищная истина скоротечности всего сущего. Мой любимый нянька Берука-гхи из недотепы-клоуна теперь все чаще превращался в некоего тайного советника, раскрывающего секреты мироздания.

– Пойдем-ка в тенек, я открою безвременную быль.

– Но меня ждет мама, я должна работать, она будет гневиться.

– Не переживай. Теперь все будет иначе, Гадуй. Отныне твоя жизнь находится под присмотром старейшин и самого Махиры. Идем же скорей.

– И что? Мне больше не нужно трудиться как раньше?

– Не нужно, здесь понадобятся совсем другие усилия.

Мы спустились по деревянной лестнице в песчаный зал с каменистым полом. Берука взял факел и провел меня в прохладную комнатушку, в которой мы улеглись в подвешенные гамаки.

– Давным-давно наши далекие-предалекие предки бросили вызов законам природы. Они сохранили жизнь девяти девочкам, родившихся при таких же обстоятельствах, как и ты. Через четыре дня случилось ужасное землетрясение, утервившее почти всех поселенцев. А случилось это потому, что одной из жертв должна была стать дочь вождя. И он, наделенный абсолютной властью, взял на себя смелость перечить богам. С тех пор никто и никогда не пытался оспорить участь избранных девственниц. Последний раз костер судьбы разжигали сто семнадцать лет назад.

– Берука, ответь мне по правде, что будет, когда я умру?

– Умрет лишь твое тело, оно как негодная одежда будет выдолблена из жизни, а ты, то есть та любопытная и, между прочим, истинная часть тебя, что задает мне этот вопрос, будет пребывать в целостности и невредимости и наслаждаться могущественными дарами и упиваться возможностями богов.

– Вот это да! А откуда тебе это известно?

– Как называют меня люди?

– Берука-гхи

– То-то же. Так поверь мне, Гадуи.

Так шли года.

Отчаяние неизбежной смерти тела отделилось непрони-

цаемой интригой бессмертия души. Животный инстинктивный страх свободомыслия с каждой полной луной высвечивался настолько интенсивно, что немедленно самовозгорался и исчезал, оставляя вместо себя умиротворяющую негу.

– Борука, а там в другом мире мы с тобой увидимся?

– Откуда мне знать.

– А я вот все думала, отчего зависит длина жизни. Махира уже девяносто лет живет и здравствует, а, например, его дочь Супчи в прошлом году померла. Объясни, Борука?

– Этот вопрос настолько прост, насколько и сложен. Я не сумею тебе этого разъяснить, но дам намек. Есть рыбы, а есть птицы. Птицы в небе, а рыбы в воде. И до тех пор, пока они сохраняют свою форму – им не понять стихии друг друга. Так же и со смертью. Пока человек жив и привязан к своему телу – он не способен понять законы смерти.

– Борука, а зачем ты живешь?

– Чтобы дышать до последнего выдоха.

– Ты смешной.

– Чем же?

– Другие говорят – вдоха.

Борука-гхи замолчал и перевел дыхание. Прокашлялся и запел густым утробным голосом песнь, сложенную в честь жертвоприношения богам. В ней говорилось об особой доле избранных, об их качествах, об их жизни, наполненной до краев сакральным смыслом существования, об их способности в осознании неотвратимости, неизбежности и необ-

ходимости столь специфической концовки. Он пел так сочно и убедительно, что я невольно застыла до размеров одной единственной точки – точки слуха. Я стала ухом, слившимся с голосом. Стала чем-то *одним*. И вот что удивительно... Никогда раньше я не слышала, как поет Берука! Будто бы он все время скрывал это от меня и берег для сегодняшнего дня, чтобы одним махом обескуражить и заставить застыть. Не знаю, долго ли продолжался его вокальный номер, но мышцы мои затекли в свинцовую неповоротливую форму. Когда иголки стали разбредаться по худощавому телу, меня слегка зазнобило. Потом сильнее, а потом и вообще до резкой рвоты. Холодный пот и шейная парализующая дрожь не оставили ничего чувственного, кроме самих себя. Следом их место занял чудовищный гул в ушах, сопровождающийся крупными солеными слезами и непонятно откуда взявшимся сном. Сон был такой. Длинная-длинная линия, серая в абсолютной черноте, потом чернота серела, серела, серела и наконец, слилась с бесконечно движущейся в пространстве линией, потом цвет ушел, и появилось мягкое урчащее шипение, все более и более ослабляющее земной звук и *бумс* – полный провал.

Шли года.

Костер готовили тридцать дней. Вниз головой, закрепленный к поперечной перекладине, висел Берука-гхи. Под ним было громоздкое конусообразное сооружение, в которое была опущена его голова, а плечи оставались над конусом, он

как будто стоял на них. Его жертва не носила обязательно ритуального характера, но он был вправе сделать этот выбор и к нему отнеслись с должным уважением. Конструкция разместилась на крепко поставленных лесах, высотой около десяти человек. Внутри конуса, в два кольца были оборудованы девять открытых гробниц в форме пятиконечной звезды. В большем кольце – пять, в меньшем – четыре. Меньшее по диаметру кольцо было выше на пять локтей. В гробницах, лицом вверх лежали молодые здоровые негритянки, сверкающие готовностью умереть. Как звезды в перспективе падения ввысь.

Мать-Земля, смотри же... смотри и не проворонь, готовь свое заветное желание, скоро...

Наши взгляды были устремлены на Беруку-гхи. Берука разомкнул губы и нарушил покойную тишину.

– Сегодня силы неба позволяют нам спасти наш род. Сегодня силы дня дарят нам последний свет. Сегодня силы огня увековечат наши тела в веках, а души в вечности. Потом он запел. Я второй раз слышала, как поет Берука. И я поняла, что пой он мне хоть тысячи раз – я была бы всегда только слухом, застывающим во времени. Он пел о нас, о нашей жизни, о качествах, присущих каждой из нас, о нашей участи, об осознании скрытой сути вещей в самопожертвовании. Очень понятно, просто и ясно.

Махира взял факел. Махира церемониально, с благоговением зажег костер. Наш костер. Костер нашей судьбы. Мы

вспыхнули и полетели навстречу новому свету.

+1. Николай Боков

Денис Анатольевич

Воробьев Денис Анатольевич служил в 22 отделении почты вот уже 39 лет. В его двухкомнатной квартире имелась торжественная стена, по всему периметру обклеенная благодарственными письмами и почетными грамотами, врученными по случаям знаменательных дат родным учреждением. Во времена СССР подобный стаж работы на одном месте отождествлялся с глубокой надежностью и непререкаемым авторитетом. Его жена умерла семь лет назад, а детей у Воробьевых никто и никогда не видел.

– Что делать-то будем? – сам у себя спросил 65-летний мужик, хотя прекрасно знал, чем займется ближайшие пару часов. Анатолич встал на путь спамера, атакующего почтовые ящики многочисленных пользователей интернета. Два месяца назад он наткнулся в сети на предложение гарантированного заработка от представителя компании New Prok. Текст предложения по всей длине отличался удивительной бездарностью и неуклюжими маркетинговыми приемчиками. Повсюду пестрели улыбчивые фотографии с жанровыми отзывами скептически настроенных, но к счастью прозревших сограждан с честными фамилиями, типа Кожемякина из Воронежа или Дубовицкой из Харькова. Анатолич не был лохом, но предложение принял, дабы скоротать хо-

лостяцкое одиночество. Да и платеж за покупку системы невысок – всего-то сотня рубликов. Было б что терять! Ему скинули подробнейшую пошаговую инструкцию для работы с системой, плюс пару дополнительных программ – одна для сканирования сайтов и вычленения почтовых адресов, другая – в помощь для ускоренной рассылки спама. Старик, освоившись в рабочем киберпространстве вошел прямо таки в раж от невиданных возможностей современной техники, личного постижения процесса и ярко осязаемого присутствия в нем. Первое время Анатолич старался изо всех сил – он запамил около пяти тысяч адресов за три дня. И надо же – какой поднялся резонанс!

– Да чтоб я сдох! – взбудоражено вскрикивал Анатолич, читая гневные отклики на свои рассылки, – не нравится вам, чистоплюи хреновы – идите в баню! Я вам что – порнуху впариваю? Глядите-ка, недотроги целомудренные!? Не нравится моя рассылка, ишь мы какие нежные, ну, люди, б..., пошли...

Анатоличу было в диковинку идти против большинства, он всю жизнь играл положительные роли в рамках общественной морали – порядочный семьянин, исполнительный, законопослушный гражданин, ответственный работник, джентльмен и неисправимый добряк. А тут такой натиск негатива! Ух! Выпуская пар навстречу оскорбительным писарям, Анатолич, как будто ожил. Он вспомнил, что он живой, что его действия могут определяться личной иници-

ативой. Не проявленная до этого темная половина, вгоняющая в смертельную скуку и тихо разъедающая нутро, нашла выход, освобождая место для простой радости в простой жизни человека. У Анатолича появилось ощущение прорыва сквозь пелену незавершенности и тупика, в котором он без сознания варился до этого. Поначалу он отвечал обидчикам таким же трехэтажным вульгаризмом, умиляясь и злорадствуя собственным противодействием. А спустя месяцок желание выбивать клин клином исчезло. Ему стали тесны эти мстительные штанишки. Если его посылал куда подальше и обзывал мужик, то Анатолич отвечал примерно следующим образом: «Я не хотел вас обидеть или отнять ваше время, мое письмо было нацелено на поиск партнера по заработку и только. Я не прибегал к шантажу, насилию или другому непристойному способу ведения дел. Да, мои послания носят массовый характер и называются спамом, но спам спаму рознь, так же как и все всему на этом свете. Если мои помыслы чисты и искренни, то на каком основании вы считаете их неприемлемыми и в ответ осыпаете меня ругательствами? Я отношу вашу реакцию к необходимому выплеску злой воли и не сержусь на вас, поскольку и сам прошел через это. Не стоит извиняться. Мы с вами из одного теста. Давайте не будем умалять себя в другом. Спасибо за внимание». Когда материлась баба – ответ был таков: «Я очень люблю женщин. Как матерей, как сестер, как прекрасных созданий этого света. Пожалуйста, простите меня, я не желал вас оби-

деть или каким-то корыстным образом использовать. В моем спаме нет ничего опасного и грязного, чем можно было бы вас замарать. Мне 65 лет. Мое уважение к вам, равно как и ко всем женщинам – безусловно, и таковым останется до конца дней. Я не сержусь на вас. Всего хорошего!».

Анатолич умудрялся, не особо сбавляя темпов рассылки, отвечать персонально на каждый негативный отклик. Его почтовые ящики то и дело блокировали, а он заводил новые, обрастал опытом ошибок и становился менее уязвимым пользователем. Его труды были оплачены – за два месяца удалось подключить к проекту двадцать семь человек, что означало в денежном выражении 2700 рублей. Правда, никто из новоприбывших не выдержал, разочаровавшись в проекте в первые два-три дня спамообороны. Видимо, ни у кого из них не было умершей жены семь лет назад, бездонной тоски и прочих невнятных, но необходимых элементов для победного состава. При первых сигналах тревоги все они ринулись копать свидетельства лохотрона и в очень короткие сроки преуспели в этом предприятии. А как тут не преуспеть, дело-то железобетонное – если на папу римского можно на десять томов обвинительной «аргументации» за час нарыть...

Покончив с рассылками и ответив на 36 негативных писем, Анатолич протер очки, прошелся рукой по лбу и шершавому лицу, встретив умиротворяющее сопротивление щетины, выключил компьютер и отправился на кухню. В кухне

было свежо. Дым от курева выветрился бесследно, оставив за себя промозглую неуютность вечернего сентября. Анатолич закрыл окно. Медленно закрывать окно, и после любоваться совершенной формой стеклопакетов было чертовски приятно. Он нажал кнопку чайника и вернулся в комнату. Накинул теплую домашнюю кофту на пуговицах, натянул белые шерстяные носки, услышал милый сердцу щелчок и пошел пить бергамотовый чай с бутербродами.

Денис Анатольевич водил грузовой фургон по регионам родной и соседних волостей. Следовало пораньше лечь спать, но спать совсем не хотелось. Анатолич решил почитать. Он был обладателем макулатурной советской библиотеки, библиотеки западного детектива, заполонившего нашу страну в эпоху красноречивого плюрализма и жиденькой библиотечки эзотерики, доставшейся от покойной супруги. Как *много* всего от нее осталось. Не смотря на годы одиночества, радикальные перепланировки интерьера квартиры и другие новшества – все здесь говорило о ней. Наверно, так было по причине их идентичных привычек в ведении хозяйства и в отношении к вещам и явлениям. А что там вещи, предметы, реакции... они жили как голубки, как две половинки одного существа. И любовь, такая естественная, бесприкрашенная и простая и сейчас никуда не делась. Она жила в Анатоличе, окрасившись в нежно голубой цвет обреченной на недосказанность благодарности. Вспоминая свою Любу, Анатолич шурился в дрожащей подбородком улыбке,

выпуская из глаз по желобкам-морщинам чистую живую память минувших счастливых лет брака. Что тут поделаешь? Ни хрена тут не поделаешь, да и не нужно ничего делать. Сидит Анатолич на кухне, пьет себе чай и женку вспоминает. А если слезы катятся – то и пусть, не в тягость. Память о ней – самая прекрасная память, она размягчает сердце, она трет мозолистые ладони друг о дружку и выталкивает ком непрекращающейся душевной боли вместе с тяжким выдохом наружу.

– Я тут в интернете все зависаю, – думает вслух, обращаясь, конечно же, к женке Анатолич, – чего только не придумают люди!?

Со сленгом и коммуникациями у Анатолича проблем не было. Он мог быть своим и у тинейджеров, и у дам всех мастей и возрастов, и у старых калош-коммуняк, свирепо брызгающих слюной в описаниях современного света, и у...

Рассуждения внезапно, как это всегда бывает при телефонном звонке, прервал антикварного вида аппарат – качественный закос под «смольный» – подарок сослуживцев на 60 лет.

– Алло.

– Денис Анатольевич, Козырев беспокоит, выручай дорогой ты наш и, – тут Козырев выдержал паузу и добавил через усилие, – и любимый...

– А-а, это ты Илья Семеныч, я так и подумал что ты – долго жить будешь!

– Вот это правильная мысль! А как догадался-то?

– А что тут догадываться? В такое время, да на домашний... Чего надо-то?

– Анатолич... понимаешь, тут такое дело... Тарасов, нехороший человек в ночной рейс поставлен, а сам лыка не вяжет – сорвался зараза. Борька Киселенко сказал, что тоже выпимши, но я думаю он врет – хитрая рожа, чтоб сам понимаешь...

– А Чен?

– Чен в Твери.

– Копров?

– Слушай, Анатолич, ну его в качель этого Копрова – говна потом не оберешься. Будет днем и ночью зудеть. И женка у него задолбает звонивши... Ну, родимый... ммм?

– А фиг ли мне? Все равно не спится... сколько время-то?

– Десять двенадцатого, – по-армейски чеканил Козырев.

– Нормально, – зевнув, прикинул Анатолич.

– Так я к часу таксомотор пришлю? – заискивающе, но с победоносной улыбочкой протянул Семеныч.

– Чего до часу ждать – вызывай. Я готов.

– Вот спасибо, дорогой. Ты уж прости – некому. Все б такие как ты... За мной причитается. Слышишь?

– Да брось ты, Семеныч, ерундистика какая.

Анатолич бережно положил тяжелую латунную трубку и вышел из темной прихожей на кухонный дружелюбный свет. Поставил невытую чашку с ложкой внутри ближе к ра-

ковине – пусть дожидается. На кухне стало тепло и уютно.
Все правильно.

9. Жизнь третья. Территория нынешнего Вьетнама.

III век до н. э. Женщина

– Я готов ради тебя на все, только скажи, нет – только вскинь ресницы, я сделаю все, что можно и нельзя... Зиеп, не томи. Я знаю – ты хочешь этого.

– На чужом горе счастья не построишь, Ван. Смирись...

– Мне мало тебя в украдках, я хочу каждый вдох делать вместе.

– Нет.

Ван вырвал клочок волос и кинулся прочь. Это был мой отец. Едва он вышел во двор, как его убило завораживающе красивой шаровой молнией. Зиеп, в то время на втором месяце, упала в трехдневный обморок. Обморок был темным и легким. Ван был рядом. Он сказал, что его смерть была необходимостью, а девочка в животе нуждается в любви и покое. И что они еще будут вдвоем. Зиеп давно не видела его таким уверенным и спокойным.

Девять месяцев закончились. Мама отдала меня на воспитание тете Юань – добродушной улыбающейся женщине. Сама же уехала с военным мужем в другой регион страны. Я никогда не видела своих высокородных родителей. Однако другие говорили, что спустя год после отъезда мать откры-

лась мужу, не в силах переносить насилие нелюбви. По законам страны ее казнили. Муж спился за год до нищеты и сунул голову в петлю.

А я, нареченная Зунг, любовалась целым миром взрослой неизведанной жизни. Юань была родом из Китая. В народе ходили слухи о ее темном и преступном прошлом. Однако сила ее доброты останавливала всякую клевету и отворачивала погоню. Я часто забиралась к Юань на спину и пружкала, будто еду на лошадке. Больше всего в детские годы я любила это свое озорство. Юань ни разу не сбросила меня, преподнося непревзойденные уроки смирения. Я сама спрыгивала, боясь, что однажды терпение Юань кончится. Да и руки затекали. Помню, как она сидит в своем облюбованном углу и вяжет свое вязанье. А я сзади повисну. *Хоп* и полетело вязанье от моей ручонки. А она мягко и ужасно сердечно скажет: «Ой, пойду, подниму.» Я тогда сразу соскакивала и с умиленным сердцем несла нитки, стараясь быть похожей на верного пса. Вот такое воспитаньице! А больше всего времени Юань отводила составлению макетов микрожизни. Да-да, именно микрожизни. Ее миниатюры восхищали всю знать и разномасть северного Аулука. Однажды она создала шедевр шедевров – завораживающий смерч среди оживленного поселка. После этого ее микрожизни прекратились. Видимо, она поймала свой абсолютный фрагмент.

Он пришел за Юань, чтобы арестовать. Но не смог, так как влюбился в меня и позвал в жены, да в ветреные скитания

по миру. Юань благословила нас и отпустила, сказав на прощанье, что любит меня всего сильнее и что всегда ее любовь будет рядом. А сдастся, так и свидимся – какие наши годы.

Бинь зарабатывал на хлеб постройками. Я изготавливала микрожизни на серийный лад и продавала за гроши. Был ли мой союз счастливым? Мне не приходилось задумываться об этом. Я несла свой крест с честью и гордостью. Это все, что держало меня в покорном согласии с решениями мужа. Бинь только раз обиделся на меня. Когда я в потемках упала с лестницы и всю ночь пролежала недвижно со сломанной ногой, чтобы не разбудить мужа. В то утро он ударил меня по щеке, и горячо сообщил о полном нежелании в будущем проспять мою смерть.

– Прости, мой дорогой.

Он обнял меня, отнес в постель и наложил тугую шину. Два дня Бинь не ходил на постройки, выхаживая мою неосторожность. Я плакала счастливыми слезами печали. И в этот период создала лучшую микрожизнь. Увы, не последнюю... Что-то ускользнуло, чего-то не хватило, быть может, чуда или веры в него?

Бинь никогда не спрашивал про детей. Хотя в понурых глазах я частенько видела отблески игривого ребенка. Я плакала безнадежными слезами. Чем, быть может, и закрыла путь материнству.

Бинь рано поседел, страдая бессонными ночами и свистящим кашлем. Я тоже не спала, наблюдая за серебряной го-

ловой в темноте.

– Почему ты не сходишь к лекарю?

– Зачем ему моя боль?

– Боль других его кормит.

– Хорошо, завтра схожу.

Подойдя к жилищу лекаря, Бинь присел перед приемом на лавку. Из подворотни выполз пес. Пес был разодран в клочья и еле волочил лапы. Драка так драка. Бинь посмотрел на солнце и зевнул. Какая разница – спать или нет? И пошел на постройку.

Муж не был угрюм, не был и улыбчив. Я как-то пыталась заглянуть в его душу, но не сумела найти ключик. Перед очередной дорогой Бинь говорил примерно следующее:

– Завтра новый день. Сегодня старый. Посередине будет ночь без сна и снов. Я не устал не спать, я устал идти. Но не могу остановиться. На одном месте слишком душно. Готовься. Мы уходим в новую луну.

Дорога на лошадях петляла пылью и новыми следами, разгоняя мысли о брошенном крове. Я всегда в дороге вспоминаю детство. Юань. И нитки в узелках. А в конце дня, перед сном вызываю в памяти смерч Юань и плыву по нему, чувствуя себя махонькой рыбкой в океане непознанных красот и чудес. Порой забываюсь так сильно, что, не слыша равнодушной бодрости мужа, засыпаю и сплю до рассвета, мягко сопя в нос. С утра муж глядя по голове снова призывает в путь. И мы идем. Скитальцы жизни.

Нас хорошо принимают почти везде. У мужа золотые руки.

– Расскажите нам о других местах, окажите милость.

– Да мы не издалека, у нас все тоже. Если и не все, то многое. Вот поделки моей жены. Поглядите.

– Какая прелесть. Скажите, Зунг, а вам самой нравятся ваши поделки?

– Мне они по душе, но больше всего я люблю работу тети Юань.

– Что ж, оставайтесь у нас сколько пожелаете.

Походная жизнь кончилась с появлением офицера из Поднебесной. Он спросил – где Бинь? Но я ничего не знала о нем. Я думала, что он воротится ночью или вечером. Но не точно. А солдату сказала, что слышала, как в погребе звякало железо. Пока он спускался туда, я повесила на бельевую веревку скакавшую по двору бедную лягушку, не придумав ничего более подходящего. Бинь, должно быть, раскрыл знак и не попался в ловушку. Больше я его не видела. Зато, спустя год меня разыскала Юань.

– Матушки мои, девочка моя нежная, дай же я тебя расцелую...

– Мама Юань ...как ты?

– Сама знаешь как.

– Да... знаю.

Юань жила со мной долго. Пять длинных весен. Без слов и укоризны она наблюдала за моей *микроржизнью*. Мы много

гуляли, собирали растения и очень часто пели песни. Утром любовались солнцем, вечером луной, а ночью – звездами. Звездное небо отражает мою покорность и смирение. Луна – мудрость Юань. А солнце – мир вокруг нас. Интересно, где будет мир, когда мы умрем? Юань, виновато смеясь, говорит, что там же где и всегда. Я не понимаю. Но всегда радуюсь и привычно запеваю песнь. Такую:

*Хлеб я выращу на своей земле
Для своих детей и для муженька,
Только б дни светлей не спешили быть
Старость белую подгоняя вскачь.*

*Под моей рукой поле трав живых
Дрожь земли сырой в густоте хранят,
Ветру отворю желтый домик рта
Степь – мой верный друг – приюти и спрячь...*

Пока жила Юань – я надеялась. А потом она умерла – Юань-Надежда. И осталось одно смирение.

Аппетит пропал с появлением тошноты. Отравилась? Пережила? Тошнота стала постоянной и я многое забыла, цепляясь за жизнь прозрачными веками. В будничном ожидании смерти встречая новую тошноту. Старость и тошнота. Жизнь – убегающее облако памяти. Лицо морщится улыбаясь.

+1. Николай Боков

Тугинская

Вероника Тугинская, обаятельная на вид женщина неопределенного возраста, сидела перед монитором домашнего компьютера, закинув нога на ногу с засунутой между ними ладошкой, а другой водила по тексту письма курсором.

«Я очень люблю баб. Как матерей, как сестер, как прекрасных созданий этого света. Пожалуйста, простите меня, я не желал вас обидеть или каким-то корыстным образом использовать. В моем спаме нет ничего опасного и грязного, чем можно было бы вас замарать. Мне 65 лет. Мое уважение к вам, равно как и ко всем женщинам – безусловно, и таким останется до конца дней. Я не сержусь на вас. Всего хорошего!».

Вероника думала: «Да что же это такое? Баб он любит... пердун старый! То ли он в самом деле мерзопакостный сукин сын, то ли безмозглый кретин. А вдруг он... Ну, не знаю... не знаю, не зна-ю...».

Она вышла из полученных в отправленные и открыла свое письмо этому типу. «Знаешь что, козел драный? Засунь свое предложение себе в зад! Понял?»

Вероника поспешно закрыла страничку. Смаковать такое совсем не хотелось. Пальцы правой, заканчивающие-

ся крепкими гелиевыми ногтями принялись нервно отступать «Старого барабанщика». Вероника порывисто встала, сильно крутанула стул по часовой и уверенно двинулась на балкон. Там раздобыла пульверизатор и принялась само-забвенно опрыскивать цветы. Через пять минут все встало на свои места. «Кем бы он ни был и какие цели не преследовал, – думала Вероника, – для меня не так важно – мне с ним детей не крестить, *но*, – тут для большей вескости она подняла указательный палец вверх, – мне нужно спокойствие и чистая совесть!»

В приподнятом расположении духа Вероника плюхнулась на стул, изобретая оправдательный ответ. Через полчаса сочинение, претерпевшее двенадцать редакций, было отправлено. А ее авторша, довольная собой, освободившись от психологического балласта, уселась на унитаз сбрасывать более грубые фракции. Компанию в этом нелегком, но отчасти приятном и несомненно полезном труде ей составил легкий как перышко Сергей Довлатов, рассказывающий о своих безумно веселых похождениях в пушкинском заповеднике. На самом интересном месте, точнее – на самых интересных местах – как в тексте Довлатова, так и в процессе облегчения, раздался неожиданный и требовательный звонок в дверь. Вот такой: ДЗЗЗЗЗЫННН-ДЫННН. У Вероники, естественно, началась диалектическая паника. Естественная для такой ситуации в целом и для женщины-блондинки, уделяющей каждое утро 45 минут макияжу, в част-

ности. Ей хотелось сделать все в лучшем виде и как можно скорее, но по закону чьей-то подлости и вселенского чувства юмора вышло по-другому. На том месте, где обычно толстел рифленый рулон нежнейшей трехслойной бумаги, торчал тощий кругляш серо-коричневого предательского картона, означавший мягкий провал финального этапа фекалокросса. Картонку она бы ни за что не использовала в качестве подтирки, если бы не повторный, еще более чудовищный по накалу беспардонный звонок. Обязательно стоит упомянуть о низкой эффективности и физической непривлекательности использования круглого картона в гигиеническом обслуживании человеческого таза, в особенности его женского формата. После третьего звонка Вероника переступила через черту хаотичной безысходности и через собственные кружевные трусики и наспех завершила интимную гигиену ажурной красной тканью. Это было что-то! Первоклассный материал для супер-шоу «Ночь пожирателей рекламы». Причем рекламировать можно сразу несколько предметов – туалетную бумагу, влажные салфетки, нижнее белье, сантехнику и многое другое в рамках востребованной креативности и допустимой испорченности.

Лязгая ключом входной двери, Вероника услышала удаляющиеся по лестничной клетке шаги. Тот, кто создавал удаляющиеся шаги, услышал лязганье ключей и обернулся.

– Здравствуйте.

– Да, здарсьте, – несколько смущаясь от пережитого, при-

ветствовала Вероника.

На ней было легкое платьице чуть выше колен. Оно сексуально трепыхалось на сквозняке на манер...

– Вероника Сергеевна Тугинская?

– Да, это я.

– Меня к вам... э-э-э... то есть я хотел... Вообще-то я Игорь. И я – курьер. У меня груз для ваших соседей из девятой, но их дома нету... может возьмете на хранение, я просто запарился уже...

– Очень приятно, Игорь, я – Вероника, можно без отчества и фамилии, вы зайдите... чего в дверях-то стоять, – и в довесок добавила, – холодно, сквозняк, бр-р-р.

Веронике Игорь понравился сразу. Вероника Игорю тоже. Игорь поднял с пола огромных размеров клетчатую капроновую сумку на молнии и мелкими шажками, толкая поклажу вперед коленями, вошел в прихожую. Вероника протиснулась между ним и стенкой, чтобы прикрыть дверь. В этот момент личные пространства смешались, проявив себя повышенным сердцебиением и неровным дыханием.

– А откуда вы знаете мое имя?

– Там внизу висит список жильцов, ну я и прочитал. Да вы не беспокойтесь, у меня есть документы и...

– Ой, бросьте вы... это совсем ни к чему, я ведь вижу, что... а хотите чаю?

– Представляете, я после вас хотел забежать в кафе – горяченького чего-нибудь попить, а вы мысли мои прочитали.

Только вот стесняюсь немного, неудобно как-то.

– Пфф... Что здесь неудобного? Все мы люди – братья и сестры, и ..., – тут Вероника подумала, что сморозила глупость, но Игорь не изменился в лице в худшую сторону, и она продолжила, – проходите на кухню, а руки вот здесь мойте, полотенце на двери – синее...

– Спасибо... – Игорь силился сказать нечто внушительное в знак почтения, но как назло, нужных слов не подбиралось и он, задействовав одновременно все мимические фрагменты лица, нерешительно прошел в ванную.

Вероника ринулась на кухню. Смахнула крошки, достала пару приличных чашек, шоколад, конфеты, печенье.

– Вероника, я зайду в туалет?

– Да, конечно, – по-свойски ответила хозяйка и тут же скорчила жуткую гримасу и моментально побагровела от стыда.

Картина, представшая Игорю в туалете, была диковинна. В унитазе вперемешку с какашками плавали изящные трусики и картонка от туалетной бумаги. Видимо следовало все это слить – да и делу конец, но рука застыла на рычажке – а вдруг засорится? Писать прямо на стринги не хватало смелости. Стоять и размышлять дальше становилось подозрительным, и он решился. Двумя пальцами вынул трусики и прилепил их на краешек унитаза, затем вытащил картонку, разорвал ее на мелкие обрывки и нажал на слив. Быстро схватил трусы и поднес их под напор слива. Прополоскал их

в холодной воде вместе со своими руками, очистив от мелких фрагментов кала. Выжал трусы и вытер руки об свои носки. И только после этого приступил к мочеиспусканию, неотрывно глядя на жгучую интимную деталь женского белья, лежащую безо всяких сомнений на самом сексапильном предмете домашнего обихода – сливном бачке. Тут как назло накатило чувство вожделения. Накатило как цунами. Писать в таком состоянии неудобно и проблематично – диаметр унитаза становится слишком мал. Он же не увеличивается (!) и совсем не имеет никакого понятия о пропорциях и солидарности! Единственный способ не обоссать все вокруг – это как можно ниже опустить *прибор* и скукожить крайнюю плоть до образования небольшого переходничка из уретры. Так, во всяком случае, струя становится более-менее управляемой. Покончив с естественными потребностями в нестандартных обстоятельствах, Игорь протяжно выдохнул и в такт качнул головой. Было ясно – он молодец и справился со всем на «отлично». Теперь оставалось всего ничего... объяснить Веронике, что он обнаружил в плавающем дерьме ее трусишки, а затем, из чувства признательности простирнул их в унитазе.

Вероника тем временем изнемогала в муках позорной невыносимости. Не зная как себя повести с застрявшим в туалете мужчиной, она кусала фалангу указательного пальца, сильно жмурила глаза и часто вздыхала. Наконец-то раздался щелчок замка двери, из-за которой с туповатой улыб-

кой на лице вышел Игорь. В правой руке он держал темно-красный комочек мокрой ткани.

– Вероника, вы видимо, – Игорь, смущаясь, поднял брови «домиком», – обронили... я и подумал, что... в общем если вы хотели это выкинуть, то лучше не туда...

Вероника торопливо выдернула стринги, сказав, что все это пустяки, не заслуживающие внимания и что он напрасно беспокоится, так как подобного добра у нее хватает. Вконец запутавшись, она жестом пригласила пройти на кухню.

– Да-да, я только руки сполосну, – вопрошающе поднял хозяйственные руки Игорь.

– Да-да, конечно, полотенце на двери – синее...

И вот они уже за столом – сидят и пьют свежесваренный зеленый чай вприкуску со сломанным вкривь и вкось шоколадом. Говорят о работе Игоря, о неразберихе в погоде, о фильмах Кэмерона и Тарантино и о нескончаемо надвигающихся со всех сторон концах света. Беседа вышла легкой и естественной, словно они давным-давно знакомы. Вероника до того расслабилась и осмелела, что позволила себе напомнить о туалетном казусе. Смеялись до слез...

– Игорь, так не честно – вы знаете крайне интимную историю обо мне, а я таковой обделена. С вас причитается...

И Вероника в подтверждение серьезности своих слов включила сверла коварных пронзительных глаз на медленные, но верные обороты. Игорь сразу понял – выбора ноль.

– Что ж... Я отплачу вам сполна.

– Надеюсь.

– Сами убедитесь.

– Может начнете уже...

– Сейчас.

– Хватит время тянуть!

– Не в этом дело, просто не знаю как начать...

– Бросьте свои дворянские приличия!

– Все! Я готов! Вероника, вы знаете, что еще делают мужчины, когда справляют нужду, малую нужду в общественном туалете?

У Вероники округлились глаза. Она сказала «Вау» и просияла широкой улыбкой.

– Все мужчины?

– Почти. Девяносто процентов.

– Боюсь предположить... И что же? Очень интересно...

Речь идет только о писсуарах?

– Преимущественно да, ввиду удобства фиксации данного факта. Но не принципиально – унитазы тоже годятся.

– И это именно в общественных туалетах?

– Я полагаю, что не только в общественных, но утверждать не могу по понятным причинам – я же не имею доступа к собственным туалетам частных лиц. Но судя по себе – скорее да, чем нет.

– Как-то подозрительно... У вас что – плохая память?

– Вы абсолютно правы. Лично я уже давно от этого отучился и поэтому уже не помню – делал ли я это дома... На-

верно, да. Сдаются? А то мы так...

– Сдаюсь! Хотя постоит... я все-таки рискну – *вы пукаете!*

– Я-я-я!?

Игорь поднес кулаки к лицу и закатился диким хохотом, Вероника тут же присоединилась. Когда удалось отдышаться, Вероника уточнила:

– Говоря «вы» я имела в виду всех мужчин, лично вы – нет, вы же свое отпукали. Или я ошибаюсь?

Парочку накрыла новая волна смеха. Наконец Игорь вытер слезы и сказал:

– Вариант, конечно, интересный, но увы... на девяносто процентов не тянет. Максимум – на десять.

– Ммм... – качнула головой Вероника, – так это ни те ли десять, которые не делают то, что делают девяносто?

– О! Как быстро вы все плюсуете! Но нет! Эти десять наоборот входят в девяносто.

– Ладно, говорите. Сдаюсь!

– Девяносто процентов мужчин, когда справляют малую нужду... плюют в писсуары и унитазы.

– Плюют?

– Плюют.

– Зачем?!

– Точно не знаю... вероятнее всего это проявление самости, своеобразный мужской тест-драйв или как у собак зубы показать, невзначай как бы. А может, чтоб просто затянув-

шуюся паузу заполнить...

– Паузу? А! Вы подразумеваете задержку?

– Да-да! – обрадовался Игорь. – Именно задержку!

– Здорово! А вы чего бросили?

– А на кой оно мне? Дурацкая привычка! Не хочу быть ее рабом!

– Ай да сила воли...

Они болтали и болтали, и это бы еще невесть сколько продолжалось, если бы не курьерский телефон.

– Алло... Здравствуйте! Не переживайте, скоро буду, я уже направляюсь к вам.

Игорь и Вероника слегка испуганно и с сожалением посмотрели друг другу в глаза, осознавая завершение приятной встречи.

– Что ж, кажется мне пора, спасибо вам за все, Вероника...

– Пожалуйста... Игорь.

Игорь быстро обул кроссовки, накинул ветровку и с чуть виноватой миной произнес:

– Был очень рад познакомиться... Всего хорошего!

– Счастливо, – махнула рукой на прощанье Вероника, захлопнула дверь, стянула платье, полюбовалась собой в высокое зеркало, подумала «все только начинается...» и с загадочным видом отправилась в душ.

9. Жизнь четвертая. Русь Киевская. X-XI вв. Мужчина

– Будет галдеть! Братцы, долой язычество! Да здравствует православная Русь! Крестинами окропим народ наш и землю вольную, веру в Бога единого укрепим в сердце истинном...

Белые одежды. Холщина да лен. Бороды, седина, усы. Гул и гам, суета. Толпа дымится праздным действием.

Взрослые игры – потеха нам, да и только. Нам – это мне, да сыну княжескому.

– Побежали к речке! В воду с дерева садить!

– Вперед! Гия гоп!

Уродился я в знатной столичной семье. С малых лет при дворе ошивался. С сынком княжеским все детство промотали друзьями закадычными. Сплелися волосами, не разлей вода.

Выросли детиными справными. При дворе дивья расти. Стал сын княжеский князем. Хоть и чин иной, а души во мне не чаял. Так и я верой-правдой служил своему господину. И совет держал, и слово молвил.

– Ух, Олежа, знать слышал ты уже о диве заморском?

– Нет, светлейший князь.

– Есть такая пучина водяная за тридевять земель – захочешь потонуть в ней, а не потонешь!

– И право диво! На нашей-то сторонке поди и нет таких

чудес.

– Да уж... не чета нашим скоморохам!

– Великий княже, а отчего бы в нем и не потонуть-то?.

– Отчего? Оттого, дурья башка! Соли в нем – хоть отбавляй, будто солома подстелена. Сядешь в море том и сидишь, как в гамаке качаешься. А окунешься – выйдешь белый точно в рубахе!

– Вот те раз. Где же море это? Уж не по нему ли Господь наш гулял?

– Вот уж чего не знаю – того не знаю. А ты, однако, остер, братец... Ладно, дело стороннее. Вот что, Олежа, храмы надо возводить... Возьмись-ка за дело в своих излюбленных западных волостях, казной распоряжайся по разумению, не скупись, но и не транжирь без толку.

– Можно и взяться, чего не взяться.

– До снега поспеешь?

– Поспею, государь, поспею.

Алчность была вшита в меня по рождению и составляла одну из доминирующих черт характера. Любые финансовые, земельные и прочие операции я в первую очередь рассматривал на предмет легкой наживы и без зазрения совести обогащался за счет государственной казны и лояльного отношения к моей персоне главы государства. Вот и здесь не удержался – приголубил десятину, а то и боле. Ничегошеньки не могу с собой поделывать... Коли течет золотко ми-

мо рта, ну, как тут не зевнешь разок-другой? Но и работу же знал! Не то, чтоб некоторые нерадивые...

Возвращаясь с княжеского совета, я пребывал в приятном возбуждении. И тут на моем пути возник лакей Гришка с ложкой дегтя. А я терпеть не мог, когда дворовая прислуга не отвечала моим представлениям. Я замечал все тонкости, будь-то искусно скрытый зевок или вольное положение пальцев рук. В таком случае, я строил всех поздним вечером и преподавал им вместо отдыха правила хорошего тона, а потом отправлял крестьянскую братию на свои уголья для утилизации провинности. Месяц проблем не возникало, а позже, как по заказу, все повторялось сызнова. Ну что с них взять? Чурбаны неотесанные, чернь гниlostная!

– Гриха, а ну вели всем собраться. И мигом!

– Слушаюсь, ваша светлость.

Через десять минут пятнадцать человек вытянулись в линейку по ранжиру.

– А ну-кась, домовые, кто может растолковать Григорию – как надлежит облачаться в господской усадьбе?

– Ваша светлость, прошу вас, позвольте самому все рассказать пб толку.

– Даю одну попытку объясниться, Григорий. Если дело скажешь, так тому и быть – распушу. Не сможешь убедить – придется всех проучить. Тяжелую ношу народу навертишь – с песней корчевать земельку.

– Ваша светлость, не силен я к своему стыду в речах

красивых да утонченных, но все расскажу как на духу, без утайки и вранья, ей-ей. Кухарка княжья – Ангелина, значит, несет пустые приборы на подносе и варенье еще – малину, ну навстречу идя как бы. А я ей. Ну, известно – парень я споркий – не люблю медлить, иду как обычно, ну для своей походки, а, скажем, другому кому, ну хоть Витьке Косому – шибко гараз иду. Ну-т, дело-то дале совсем не в аккурат поехало. Значит, как сверканет мне зайчик солнешный от подноса-то, да лучше б в глаз, ан нет, прямиком в носопырку. Щекотно стало гараз, ну и всем известно, что по разу я не чихаю. Семь разов, никак не меньше. Пятый был вовсе непутевый. Я ак чихать начну – глаза сами прикрываются, как котенок слепой, ей-ей, незрячий будто. Вот и столкнулся с Гелькою, поднос-то мигом навернулся, а хуже всего то, что варенье там было, в коробчонке-то, будь оно не ладно. Порткам сильно гараз попало, я еще прикинул, что лучше, мол, сразу их в бадью замочить, а то малина вьестся гараз и пиши-пропало. А портки-то у меня одни парадные, пришлось навозные одеть, не дюже ведь гольем по двору расхаживать. Помилуйте, государь. А коли мало проку вы в моих словах отыщете, смилуйтесь, не серчайте, батюшка вы наш, прошу вас, Христа ради, отпустите народ добрый, токмо меня окаянного проучите по совести. Хоть надерите плеткою, как сидорову козу.

– Ха-ха-ха, – я от души рассмеялся над суетливым Грихой и его незатейливой историей. Смотрю, дворовые тоже

еле сдерживаются, чтобы не прыснуть.

– Ладно, Григорий, будь по-твоему. День сегодня пригожий, да и в слове твоём прямоту видать. Разойдись, темнота!

– Спасибо, государь. Молится за тебя стану...

– Давай чеши, портки стирай, к завтраму эта история негожа будет.

Разбрёдался народец не шибко скоро, все потешались, а кто и громко ржал над вареньем гелькиным и над портками парадными.

Вот олухи царя небесного, как выкинут что, право, как дети малые. Дети, детушки мои родные, к вам иду с Манюшкой, отрада вы моя наследная. Все уж спят, поди.

Аккуратно прокравшись не скрипучей дорогой, зашел через задворок в дом. Веранда у меня – загляденье. Тихо, уютно и покойно. Ни кумаров, ни холодов, а все что надо под рукой. Лучину зажег. Из шкапика бражку достал. Ковшик хлоп. Ух, ляпота! Тепло пошло по телу и истома душевная заластилась удалью.

– Олежа, а я все тебя дожидаю, голодный небось. Каша е, а то и щей поешь.

– Не, матушка. Я уж бражки тятнул. Не тревожься милая. Поди же ко мне, обнимемся, голубка моя ясная.

Что еще надо человеку. Счастье – так просто. Жена ненаглядная, да деток ладных вырастить. А остальное само приложится, лишь бы котелок варил поживее.

– Спят касатики-то?

– Спят, Олеженька, сладко-пресладко.

– Маша, а ну, давай-ка с тобой по чарочке саданем.

– Ой, ну ее, помнишь третьего дня уговорил, а я-то... ой-ой-ой, гараз хмельная была. Аж шаталась в ногах.

– А мы по чекушке, чуть посидим и баиньки. Давай, а?

– Давай, проказный, но если что спьяну не то ляпну – не обессудь. Ладушки?

– Ладушки-ладушки, я ж тебя и спраживаю, ну ли...

Пока я орудую с бражкой, Мария смотрит на меня. И я тоже на нее гляжу, во век не налюбуюсь... Господи, чем милость такую заслужил, никак в толк не возьму.

– Пойдем на крыльцо, август на дворе. Звезд, должно быть, видано-невидано.

– Маруся, я сегодня деньгами разжился, можа где еще избушку построим, где потише, да поспокойней. Уставать я от службы стал. На будущий год отставку зачну выпрашивать.

– У князя?

– У кого же еще?

– А ну не пустит ежели?

– Пустит, пустит – не молод уж, сорок девятая година идет.

– Да что ты родименький, в самом соку еще, так сегодня приголубил, аж голова вся кругом, как вспомню.

– Ой ли, Манюша, кабы не ты, давно уж не годный был бы.

– Ай, прям, Олежа, не наговаривай. Силы у тебя, что у бы-

ка трехлетки. А все ж, верно ты говоришь, домик бы нам тихий, без глаз лишних и хлопот. И прислуги особо не надобно – кухарку да скотника. Жили бы в свое удовольствие, да детишек растили. Я-то князю роднее по крови, коли воле твоей угодно – могу сама за нас словечко замолвить, ну?

– Это ты брось. Я ли не лучший его товарищ? Преданней есть ли?

– То верно, батюшка. Но сможет ли он без тебя ладно так заправлять делами?

– А я уж наместника готовлю. Рынский Петр.

– Рынский? Не опростоволосится?

– А бес его знает, не должен – суровый вроде.

– Тьфу, не к добру сегодня рогатых вспоминать. Сплюнь скорей, ну?

– А знаешь, что я думаю? От судьбы не сгинешь и не отхаркаешься. Время настанет – придет смередушка и не деться никуда, как миленький в могилку ляжешь.

– Олежа, да ты что ж такое несешь-то, господи прости. Пьян видать сверх меры, а?

– Пьян, родимая, чую встану – закачаюся. Но голова-то ясная как никогда. Легко гараз. И знаешь, страх куда-то запропал совсем. Ладно все как есть. Раньше что-нибудь да страшало, а нынче как рукой сняло. И радость на душе теплая, аж Гриху нынче за проделки не проучил. Что господа, что прислуга, все как родные как бы. Чудно гараз... и легко.

– Ой, не к добру слова твои, боязно мне, родименький.

– Не дрейфь, Маруська, чему быть – того не миновать.

– Олежа, нынче пастух на соседнем дворе помер, говорят он не здешний. И болезнь, говорят, страшнючая какая-то.

– Не Глеб ли одноглазый?

– Во! Враз угадал! Знаешь что ли?

– Ясно дело знаю. Его же телочек-то пригнан был.

– Ой, ну ежели телок тот тожа заразный какой был?

– А ели мы его?

– Вроде не. Не. Куда там, он худосочный был, как червь на солнце, так я Кондрату велела на солонину пустить.

Приступ кашля разбередил глотку.

– Что ты? Захворал никак? Молочка можа хлебнешь?

– Господи, да кумара проглотил нечаянно. Вот и поперхнулся.

Я тихонько поднес руку с откашленной мокротой к лучине. Слизь с кровью.

– Ты вот что, мать, солонину тую закопай намертво, мало ли и вправду что не так с телком. Слышишь, не вздумай иначе.

– Скажешь тоже, что ж я дура набитая? Пойдем спать, Олежа. Утро вечера мудренее.

– Пойдем, ладушка моя, пойдем ненаглядная.

Я уложил жену спать. Поцеловал в бочок. К детям не пошел, дай вам Бог, *родные мои*.

Сегодня дел невпроворот навалилось – трапезничать особо некогда было. Так я солонинки пару лоскутов схватил

и слопал в один присест. Дернул меня бес! Горло сжималось на глазах чьей-то мертвой непознанной хваткой. Черная дымка вылезла из головы, затуманив взгляд. Воздуху маловато. Тихонько прокравшись не скрипучей дорогой вышел из дома, через задворок. Эх, ладная у меня веранда – все под рукой. В глазах темнело быстрее, чем на дворе. Как жалко-то все... как же так все... Эх! Я припустил к одиноко стоящему дровнику. Там раньше дом был крестьянский. Так я выжил семью ту, обобрав их как липку, пустил пару на ветер, ладно хоть бездетные были. Земля мне якобы понадобилась... На кой черт? До сих пор бурьяном место заросло. А дом ихний гараз ветхий был. Так пригнал дворовых – разобрали на дрова, да дровничек справили. Теребил я народец-то... гараз шибко теребил... Мокрая трава, а запах—то, во запах-то! Доползу-доползу... Ничего, чуть еще... В голове что-то трещало и лопалось.

Ага, вот и дровничек из дома ветхого. Последний мой привал. А вот и лучина справная, вмиг запыляется – Гриха тесал, а он известно всем – гараз умелый и споркий. Спасибо те, Григорий, за лучинку. Вот и топорик Гришкин, вострый как коса. Пошел плясать огонь по лучинкам, вон уже и полешки занимают. Ну, все, не поминайте лихом. Эх, ладошка, не чиста ты была на руку. Хрусь топориком... Эво, фонтан каков! Ладно, будет причитать, пожил как-никак. Лишь бы деткам с Машенькой не перепало огрехов моих.

Ясно стало вдруг чего боялся... Чернь! Чурбак неотесан-

ный! А звезды!?! Звезды-то какие! Чудная жись-то какая! То
еще чудо – не чета заморскому! Эх...

+1. Николай Боков

Боков

Со своим прошлым Николай Боков разбирался разными способами. Собирал старую одежду, вобравшую в себя осколки темной стороны, и выкидывал. Рвал пополам фотографии, письма и тоже бросал в мусорный бак. Вывешивал по всему жилищу листы с аффирмациями. Проводил инвентаризацию кухонной утвари и утилизировал ту, что считал устаревшей, тянущей за собой назад. Навязывал всему вокруг свои сроки существования. Избегал разрушительных и неэффективных фраз и мыслей. Трансформировал чувство вины. Ходил в церковь, исповедовался и причащался. Пил по утрам святую воду. Просил прощения и прощал всех кого мог вспомнить. Знакомился с ясновидящими и медиумами. Распутывал кармические узлы. Снимал порчу и проклятия. Восстанавливал энергетическую структуру. Прочищал каналы и меридианы. Накачивался специальными энергиями с помощью мудр, мантр и молитв. Избегал мата и постился. Мыслил позитивно. Старался никого не осуждать. Смирялся. Терпел. Взрывался. Каялся. Вновь очищался. Опускал ноги в таз с соленой водой. Канализировал негативы. Не принимал на свой счет. Ставил энергетические щиты – коконы, граненые стаканы, яичную скорлупу,

белые легкие покрывала, косые зеркала. При первых признаках сглаза обкатывал голову сырым яичком нечетное количество раз, но не менее одиннадцати; разбивал в холодную воду и сливал через левую руку в унитаз. Читал позитивную и крайне созидательную литературу. Лечил всех подряд. Работал над собой. Голодал. Чистил организм. Контролировал эмоции, сознание и мир. Раскачивал чакры и третий глаз. Строил тело света. Налаживал информационный канал с космическими разумами. Медитировал. Медитировал. Медитировал...

И все для того чтобы свести к нулю свое прошлое. К нулю. Освободиться ото всех зацепок. Обнулиться. Стать чистым девственным листом. Белым скрипящим А-4.

Е

Боков Коля не ошибся в подсчетах – едва вспотевшая ладонь освободилась от последнего зернышка, как из-за поворота вынырнул почтовый голубой фургон ГАЗ-53. В том, что он остановится как по взмаху волшебной палочки, Коля не сомневался. Обновленная природа Колиной сущности не содержала в себе вообще никаких сомнений. Те изменения в сознании и мировосприятии, которые произошли с ним в результате взаимодействия с необычной группой искателей истины, относящих себя к последователям древнейшей школы радикального ЦИГУН, не оставили места для подобного рода качеств человеческой психики. Его словно перезагрузили, очистив от старых стандартов мышления,

чувственных характеристик и нелепого набора мелких сентиментальных ценностей. Взамен он получил ясность в поступках и однозначность в мыслях. Да, им управляли и программировали на выполнение различных задач, но на это Коля пошел сознательно, вверив всего себя целиком в просветленные руки духовного лидера, открывающего новые ступени реальности. Коле был предоставлен выбор – подчинить свою волю высшей воле, открывающей новый мир без страданий, лжи и двуличия. Или жить как раньше – «своим» ограниченным умом, неспособным проникать в скрытую суть происходящего, а от того вечно недовольным и погрязшим в болоте уныния и преходящих развлечений, впоследствии еще более отягощающих и без того отвратительное существование и веру в себя. Чего тут выбирать? К тому же этап исполнения чужой воли – необходимое условие, заложенное для того, чтобы дорасти до уровня личного понимания совершаемых действий. На этом этапе действовать от себя правильным образом нет никакой возможности, так как нет соответствующей ясности для движения в нужном направлении. Велимир учил, что через подобное использование «в темную» прошли все адепты нашей школы, и *его самого* эта участь не минула. Не научившись подчиняться, не научишься командовать. Главное и единственное условие – найти безупречного командира, знающего куда и зачем идти.

Велимир говорил, что миссия школы заложена в самом

названии ЦИГУН (Центр Искоренения Гнусов и Утилизации Недов). Велимир учил, что все, что нужно для постижения правильного пути содержится, помимо прочего, в обычных каждодневных словах и отслеживании мысленных формирований. И что слова, так же как и прямые физические действия способны изменять природу материальности.

И еще одну важную вещь разъяснил Велимир – нет людей, которые живут своей волей. Они-то, конечно, полагают, что это так. Но людям невдомек, что ими крутят как хотят невидимые актеры театра теней, чье мастерство в искусстве подлога достойно высшей похвалы. Велимир называл их Недами. Их деятельность по отношению к человечеству жестко регламентирована и выверена. Неды очень ловко вносят требуемые коррективы в поток сознания группы людей и создают необходимые ментальные установки. В большинстве случаев Неды достигают своих целей через физиологию, опосредовано, используя биологическое оружие – микроорганизмы. Место воздействия – ЖКТ. Степень подконтрольности разрабатываемого объекта или группы необычайно высока. Узнай о ней испытуемые – неминуемо случился бы шок, истерия и паника. Биологические насильственные программы работают как швейцарские часы. Допустим, нужно отвлечь человека на пару секунд в 16:40:52. Что ж, без проблем, запускается недорогая и тривиальная биограмма зевания. Показательным же примером «тяжелой», фундаментальной формы влияния Недов можно назвать наг-

люю уверенность человека в обладании правом выбора. Сила этой уверенности такова, что не возникает и тени сомнения относительно этого вопроса. А если у некоторых, особо привередливых мелькает нечто подобное, то находится масса способов рассеять возникшее подозрение. Среди них один из наиболее излюбленных приемчиков этих душегубов – установление в сердечное сознание человека несокрушимого постулата – *«На все воля Бога»*. Богом можно заслонить любые начинания и вопросы, он непобедим в принципе, поскольку ОН – *Без Определенных Границ*. А ежели находится и такой неверующий Фома, что идет напролом сквозь стены, то прибегают к более жестким мерам, например, к разработке смертельного случая. Идущий против БОГа и разрушающий его границы по обыкновению обрекает себя на трагедию – черствеет сердцем, скудеет духом, сходит с ума или того хуже...

А тем, кто безусловно верит в бога – легче. Как минимум, в том плане, что есть на кого опереться. Есть с кем разделить свои чаянья, очистить душу, покаяться, снять с себя непосильную ношу несправедливости бытия и собственно нетерпения и гневливости. С верой в Бога есть надежда на лучшую жизнь и на манну небесную. «А что же я? – размышлял Коля.

– Не верю? Да нет. Верю? Да нет. Ни рыба, ни мясо. Нельзя сказать, что атеист, но также справедливо, что и до верующего далеко. Как-то жизнь идет. Складываются обстоя-

тельства, сочетаются, обновляются. Обновляются иногда так круто, что ты четко понимаешь – однажды этот внешний непредсказуемый мир может враз тебя сломать, ему это ничего не стоит. Доказательства рядом, доказательства внутри. Взять хоть Толика, например, – говорил как бы сам себе Николай. – Я принял его в свою команду. Работали вместе года полтора-два. Не скажу, что он был эффективным и профессиональным сотрудником, как не скажу этого и о себе. Так что тут все справедливо и правомерно. Но у него было большое сердце, и в нем была великая боль и терпение. Он мог легко забить на работу, но никогда не бросал людей. Если была нужна помощь, любая – не вопрос. Он работал со мной, потому что был *человеком*, а не хорошим работником, а были и другие люди, с точностью до наоборот. Хотя и тут все правомерно. Но более всего Толик поразил меня после смерти. Когда мы сидели на поминках и вспоминали его жизнь, кто-то сказал, что у него не было водительских прав – лишили за пьяную езду еще в прошлом веке. Я ушам своим не верил. Работа предполагала частые разъезды и командировки – не менее 80% времени. А у него, оказывается, вообще не было никаких прав – ни левых, ни правых. И никто ни сном, ни духом! Ну, Толик, ты даешь!»

И Коля написал Толе стих:

*Однажды ты вышел за грань чьих-то можно
И встал на путь смерти, не зная о том,*

Смешав в одной чаше правдиво и ложно,
Себя загоняя в чужих проблем ком.
Улыбка без умысла, только из сердца
Роднила все души при встрече с тобой,
Берущих тепло из распахнутой дверцы,
Свой мир наполняя твоей добротой.
Ты сил не жалел, тех что тратил для прочих
Случайных прохожих, бредущих в потьмах,
Скрывая резь дня в опьяняющих ночках,
Сжимаемая гнет правды в железных тисках.
И жизнь твоя блажью ко всем прикоснулась
Питая надежду на искренний дар.
От дара сего зависть в смерти проснулась
Удушливой жабой смакуя удар.
И сонный полет в 160 километров
Унял твою боль просыпаний мирских.
Свободу неся в силе воющих ветров,
На чью-то бумагу рифмуя сей стих.
Стих бьется в уме, округляясь до строчки,
Которая в жизни других не видна,
Сверкая в мечте подрастающей дочки,
Заряженной смыслом смертельного дна.
Жизнь бьется как стих, разрезая основы
Наивных людей, обреченных на смерть,
Которые к смерти совсем не готовы,
Не видя в себе ее призрачных черт.
Бросающих днями запутанных ниток,
Порою всевышних о чем-то моля,
Подобно потере бездомных улиток,

*Погрязших в исканьи чужого жилья,
Забыв о своем назначении всуе,
Расстратив себя в целях временных дней.
Смысл жизни своей в достижениях рисуня
Деньгами на зависть звенящих речей.*

*Теперь-то ты знаешь об этом не мало,
Коснувшись дыхания смерти сквозь сон.
Круг жизни закрыт, его время устало
Разменивать дни ожиданий на стон
Твой стон мне был близок улыбкою чистой,
Но ты уж прости, что не смог облегчить
Дорогу твою в петлях боли тернистой,
Которую смог ты не жалуясь жить*

«Вот оно доказательство, – думал Николай. – В мире действуют неустановленные силы по неустановленным правилам. Мир человека шаток и нестабилен. Да, если внутри живет огромная безусловная всепримиряющая вера в Бога и в высшую справедливость, то вопрос теряет остроту и объективность. Но, если такой веры нет? Что делать, если не хочется сдаваться Богу? Если вся твоя внутренняя суть против белого флага? Совсем не против Бога, но не таким путем, не через себя. Я знаю и помню людей, которые меня любили и заботились обо мне. Сейчас их нет в этом мире. Но я их *знаю!* Им действительно было не все равно! И если мне не хватает веры в себя и мир начинает давить слишком плотно, так плотно, что становится невмоготу – я уж лучше по-

прошу поддержки у своих старых знакомых, а не склоню колени перед Богом с жалостливой мольбой «Господи, помилуй!». Почему я в своем текущем сознании должен доверяться и каяться *сущности*, которой никогда не было в моем текущем мире? То есть, выходит, что скорее не-сущности. Почему я должен сваливать на эту сущность-не-сущность *свои* промахи и падения, *свои* радости и удачи?

Многие в прошлом были отъявленными нигилистами, а сейчас вдруг в Бога уверовали на старости лет. «На старости» это как бы говоря по-дружески, мягко. Рабами божьими подвизались да о Царствии небесном мечтают. Что это? Через огонь, воду и медные трубы пришли к мудрости века и обрели чело? Или нечеловеческая усталость и затирка совести невыносимы до абсолюта стали? Дошли до точки *невозврата*, уперлись в нее и прознали в ней лик божий? И давай все тяжкие на него разматывать... – Нет, я не знаю, наверняка, – разглагольствовал Колян. – Только лишь рассуждаю, пытаюсь не лукавить. Но вот какое дело – смотреть на бывших бунтарей, а ныне верующих в тысячу раз приятнее, чем на бунтарей и в прошлом, и в настоящем. У божьих одуванчиков как-то все выверено, устаканено, укрошено, упрощено, успокоено, умыто, оправдано и причесано. А у оппозиционных старперов все в перхоти, волосатых бородавках и плевках. В ту пору, когда бородавки были родинками, перхоть – альтернативой, а плевки храбростью, они совсем не были такими жалкими и смешными. К это-

му стоит добавить, что благостные грешники куда более живучие и жизнеутверждающие. А дедушек-отрицал по пальцам можно сосчитать, их мир изобилует критическими погружениями и водными болезнями, а такие перегрузки далеко не каждому по зубам. Смотришь на первых и как-то светло, пусть и *неясно*, но солнечно. А на вторых и глядеть не хочется, разве что за твердолобую принципиальность утешительную галочку поставить на социальном кресте из древесины. Если насчет блаженных вопрос спорный, то отрицающие точно заблудшие души.

– *Что это я? Куда меня понесло, неужели опять сбой...*

Е

Газон пролетел мимо голосующего парня, но спустя метров двадцать загорелись задние стопы. Пройдя тормозной путь, автомобиль издал приятной глубины резкий звук включения задней передачи, после чего душевно, плавными рывками, завывая и урча, покатился назад — навстречу Коле.

– Привет, сынок. Куда путь держишь? – спросил водила грузовика, бодренький позитивный старикан. «Из этих... – подумал Коля Боков».

– Здравствуйте! – с ноткой энтузиазма, в тон водиле, ответил Колян, – мне в Пестово надо, но буду рад хоть до Крестец добраться.

– Садись.

Коля в секунду запрыгнул в кабину, и со знанием дела, без лишних опасений, но и чрезмерной угодливости захлопнул

дверь. Это не прошло мимо пристрелянного взгляда водителя, оценившего по заслугам спокойную уверенность попутчика. Когда водишь машину сорок лет, то чувствуешь миллионы нюансов и реакций автомобиля, и, не смотря на то, что они скорее неосознанны – ты понимаешь язык машины. Он прост и незатейлив, подобно дороге, какая есть – такая и есть, никаких прикрас.

– Ну, что, пилигрим, сегодня твой день, точнее ночь – мне как раз в Пестово! Везунчик же ты! Как звать-то?

– Николай. А вас?

– А нас Денисом Анатольевичем.

– Очень приятно, Денис Анатольевич, вы большой молодец, что согласились меня подкинуть. Доброту сейчас редко встретишь, – начал было развивать Колян универсальную для всех стариков-одуванчиков идею, но ни тут то было...

– Да что ты говоришь? А если б не согласился? Кем бы тогда я был? Злым сукиным сыном, а?

Коля повернул голову и уставился на водителя, пытаюсь уловить реальный смысл его неожиданной тирады. Денис Анатольевич так же разглядывал собеседника в упор, не теряя при этом способности к управлению машиной.

– Что? Если человек хорош в одном, то и в другом должен быть таким же? Да и «что такое хорошо и что такое плохо?». А вдруг я – весь такой из себя добрый, но именно я, я в гроб тебя вгоню? Сам небось знаешь – дорога здесь узкая, горка на горке, да еще и ночь, хоть глаз коли – сколько здесь

народу разбилось, знаешь? А какой-нибудь урод, например, Петя Васечкин не взял бы тебя – козел драный и из злости своей один бы на тот свет отправился, а? Эй, Ко-ля, ты что – в транс впал?

– Да я не ожидал просто – думаю...

– Думай, Коля, думай – это дело полезное. Только иногда поздно бывает. Индюк ведь тоже много чего думал да выпендрежничал ходил, а один хрен в суп попал. Вот ты, например, зачем меня за добродушного маразматика принял? Просто так подумалось? По внешним характеристикам? Думал, что ты такой крутой перец – стоишь тут на дороге в два часа ночи, без имени, без флага и море тебе по колено, да?

– ...

– Может ты думал, что в проносящихся машинах сидят лишь набитые всяким хламом тупые кожаные куклы? Так? Большинство из которых эгоистичные хмыри, а другая часть – сдвинутые добрячки? А тут ты стоишь на обочине... гол как сокол – *но... повелитель ку-кол!* Кукол! Да?

Анатолич внимательно посмотрел на парня.

– Эй, браток, чего приуныл, да брось ты – не парься.

– А я и не парюсь. Чего мне париться-то, дело говорит, Денис Анатольевич. Мне неслыханно повезло – встретить среди ночи столь живо мыслящего собеседника. Вы уж поверьте на слово – ничего подобного от вашей ровни слышать не доводилось. Так что вы в своем роде уникам!

Говоря все это, Коля анализировал выпады старика.

По ряду признаков этот человек выделялся из серой безликой массы. Да что там «выделялся», он просто «выпрыгивал!». По другим специфическим чертам, в первую очередь по нестандартному сочетанию слов, интонаций, жестов и взглядов – он вел какую-то игру. Хм-м-м...

Анатолич внимательно, на сей раз с заметной в растянувшейся улыбке хитринкой, посмотрел на Николая. Он так же его разрабатывал. Едва ли по силе, точности и остроте умозаключений старое поколение уступало молодому.

– Ровни!?! Ну, ты даешь! Скажешь тоже! Знает, значит, молодежь словечки советских времен!

– А я – не молодежь, Анатолич. Или во всяком случае не ее лицо.

Анатолич вздрогнул, услышав от пацана «Анатолич». Он вытер губы шершавой тыльной стороной ладони и резко свистнул, заполнив кабину вибрирующей острой субстанцией. Коля машинально растер уши ладонями. Они быстро покраснели и припухли. Свист старика-разбойника оглушил паренька тонюсенькими болевыми иголочками, застав врасплох расслабленные, неготовые перепонки. Коля *офигел*. Коля расчувствовался и чуть не заплакал. На него посыпались сентиментальные крошки человеческого идиотизма и теплоты. Система точно давала сбой. Следом за сантиментами замаячили призраки страха и неуверенности. Коля настроился на профиль Велимира и попросил помощи.

– Эх-х, душа поет, Колька..., – вмиг внес адекватное

оправдание своему поступку Анатолич, с заговорщицким прищуром подмигнул обалдевшему, качающему головой молодцу и затянул дребезжащим басом:

*Вот она пришла весна как паранойя,
В глаз попал весны запал – будет взрыв!
Вот она пришла весна как паранойя,
Прозвучал весны сигнал – все в отрыв!
Паранойя...*

– Ты, Коля, мне вот что скажи – чего тебя приспичило в Пестово ехать? Да еще и на ночь глядя. Там ведь глухо как в танке.

Они вновь переглянулись. Коле стало ясно – вопрос провокационный. Если соврет – сразу выдаст себя, если скажет правду – может провалиться операция, если будет молчать – навлечет подозрения. Пожалуй, последнее.

– Понимаете, Денис Анатольевич, в этом деле затронуты интересы третьих лиц, огласить которые, по меньшей мере, неэтично.

– Так и думал. Очень интересно. Знаешь, Колян, а дело у тебя, похоже, и вправду серьезное, раз меня заслуженного отдыха лишили.

Коля едва не выронил из рук белую кепку с маленькими красными вкраплениями.

– Что это значит?

– А чегой-то, дружок, у тебя веко задергалось? – Анатолич

блефовал, пытаясь выбить из колеи.

– С веком порядок. Так о чем вы? – четко отбил холостого Коля.

– Сам посуди – Тарасов полгода не пил. А тут забухал. Теперь самое главное – ему два дня до отпуска осталось! И все из-за тебя, сынок. Если б он на моем месте был – фиг бы он тебя подобрал. Он никогда никого не берет. Я – его замена. Врубашься?

– Что это еще за хрень такая?

– И я хотел бы знать – что это за хрень такая!? Ты ж у нас крутой голкипер – вот и думай...

9. Жизнь шестая. Япония 1349—1401 гг. Женщина

– Сугуру, Сугуру, Су-у-у. Эй, я сдаюсь. Выходи, ну, пожа-луйста, выходи... мне страшно... Сугуру! Су! Су-у-у... хы-хы-хынь-хынь...

Сначала Ми плакала, потом рыдала, потом зашлась истерикой. Перелесок хоть и не большой, но ей еще только пять. Села на кучу осенних листьев и захлюпала трясущимся личиком, наводняя душевными терзаниями округу.

Сугуру не слышал Ми, он давным-давно был дома, в компании трех сестер и брата. Он, усмехаясь, рассказывал, как одурачил Ми. Ми ненавидели сестры, Ми ненавидели братья. За то, что ей одной досталась любовь родителей, за то, что она не такая как они. А больше всего их раздражало то, что она не умела обижаться на очевидно жестокие выходки.

– Ненормальная какая-то, а помнишь Су, как мы ей всю одежду покромсали на лоскуты, а она, выпучив свои невинные глазки, пролепетала: «Ведь холод на дворе, в чем же мне гулять-то?»

– Ха-ха-ха, – смеется вся семейка: Сугуру, Широ, Хисако, Аканэ и Изуми.

– Т-с-с, Танака идет, мы ничего не знаем, – заговорщицки просипел Сугуру, накинув маску нахальной беспечности.

– Ребята, вы не знаете, где может быть Ми? У нас скоро

занятия, а ее и след простыл.

– Какое нам дело до этой малявки, – высек Широ презрительным фальцетом.

Танака был не из тех, кто обрастает лапшой за ушами. Он бросил короткие взгляды на каждого и четко понял, что ему морочат голову. Он вышел на лесную тропку и пройдя треть ри⁸ принялся кликать ребенка. Через некоторое время он нашел ее на ворохе сухих листьев. Ми спала, свернувшись калачиком и тревожно вздрагивала при этом. Танака отнес ее в залу отдыха и уложил на теплую шкуру, укрыв мягким расшитым одеялом.

Господин и госпожа Танабэ вернулись к закатному солнцу. Танака, близкий друг и наставник семьи Танабэ, приветливо встретил хозяев дома.

– Сэидо, меня тревожит твой ангелочек Ми.

– Они опять что-то натворили? – махом разъярился Танабэ Сэидо, – Я накажу негодников. Что!? Что теперь?

– Они играли в прятки в пролеске, там я ее и нашел. Они просто оставили ее там. Сэидо, ее отвергают все твои дети, будто гадкого утенка. Наказанием тут вряд ли поможешь, скорее, усилишь ненависть к ней.

Сэидо натер ладонями лицо. Выпад гнева сменился бесильной печалью.

– Танака, что ж мне делать? Подскажи. . . , – сморщив усталое лицо, безнадежно процедил Сэидо.

⁸ Ри – японская мера длины, равная 3,927 км

– Ты слышал, что в провинции Этиго новый управитель?

– Нагата?

– Да, ты знаком с ним?

– Нет. К чему ты клонишь, Танака?

– Этот господин мой давний знакомец, и я ручаюсь за его высочайшее благородство и чистоту помыслов. Он бесплоден, Сэидо. Лучшего дома и судьбы для Ми не сыскать.

– Да ты... Как ты можешь предлагать мне такое?

– Я обязан тебе жизнью, Сэидо. Я искал выход уже давно.

Мне больше ничего не приходит на ум.

– Неужто ты не знаешь, как сильно я люблю Ми?

– Знаю, друг. Потому и говорю об этом.

– Нет... нет, никогда не соглашусь на это.

– Ты отец...

Десять минут молчания прервал Сэидо.

– Как моя принцесса сегодня себя показала на утренних занятиях?

– Не сомневайся, лучшего ученика трудно найти. В ее годы так тонко и просто чувствовать мир способен только ангел.

Сэидо Танабэ в сию секунду преобразился. Рот полуоткрылся в улыбке гордости, а глаза засияли чувственной нежностью.

– Да-а-а... моя девочка послана небесами... я сберегу ее от...

И тут Сэидо осенило.

– Танака, ты помнишь семью Хори?

– Что погибли в шторм.

– Да. А их малыш остался на попечении слепого деда. Ты знаешь, что с ними случилось?

– Нет.

– Дед, хоть был и слеп как крот, но рассудком крепок. Он распродал все имущество и отдал ребетенка в столичную школу театра. Говорят, воспитание там ого-го, ученикам их ни чести, ни достоинства не занимать.

– Ты гений! Ми будет лучшей актрисой!

– Нет, Танака. Ми останется со мной. Пусть старшие дети меряют сцену.

– Ты в своем уме? Это громадная куча денег, где ты их найдешь?

– Я продам драгоценности и коллекционный погреб с тремя тысячами бутылок лучшего sake в Японии.

– Чем ты будешь жить?

– Буду лить sake!

– Я восхищаюсь твоей решимостью, Сэидо-сан. Клянусь – пока бьется мое сердце, я буду служить тебе.

Танака в чувствах обнялся с Сэидо. Это была его семья. Он был выходцем из знатного старинного рода. Его старший брат, едва повзрослев, умер. Скоро и отца с матерью не стало. Сестры уехали в далекие провинции с мужьями и обзавелись шумной детворой и степенной достаточностью. Танака же остался один. Его дом посещали многие досто-

чтимые господа с прехорошенькими дочерьми. Кто прямо, а кто осторожно предлагал марьяж. Танака деликатно объяснял отказ мужской несостоятельностью и обетом хранить безбрачие, дабы не омрачить супругу бездетностью. Никто из сватов не посмел разгласить его тайны. Однако со временем дом опустел. Что-то было не так с Танакой, всем было ясно, а люди того времени избегали чужих секретов. А секрет был прост. Танаку не интересовали женщины. Его преступной стыдливой любовью был Сэидо. Но ни разу, ни взглядом, ни намеком он не выдал себя, выражая свою любовь собачьей преданностью и полной самоотдачей. Якобы в благодарность за спасенную жизнь, которую нарочно, но крайне правдоподобно поставил на грань смерти. Неустанной борьбой с собой, Танака с годами затоптал вожденную страсть к Сэидо, распустив непорочное дерево самурайской верности.

Е

Я открыла глаза и сладко потянулась, дав волю возникшим мыслям.

– Я дома? Интересно, как я сюда попала? Должно быть, Танака-сан позаботился обо мне. Он такой хороший и добрый, а не женат. Почему? Вот вырасту и пойду за него!

Я бесшумно встала и причесала гребешком волосы. На затылке слегка побаливало местечко, которое за волосы тянула Изуми, когда играла со мной в охотника и собаку. Мои братья и сестры совсем меня не любят. Танака мне всегда го-

ворит, что они не виноваты в этом. Что они так добиваются любви и внимания отца и матери, которые так щедро достались мне. Я ему верю и стараюсь не злиться на сестер и братьев. Правда, все равно очень обидно, особенно вначале.

На цыпочках я прошла по коридору в любимую комнату отца. Отец стоял, обнявшись с моим учителем. Я громко шлепнула в ладоши и запрыгнула в раскрытые объятия друзей. Притягивая руками шеи, я крепко зажмурилась в ожидании щекочущих поцелуев с двух сторон.

– Ми, мама еще не спит, порадуй ее – поцелуй на ночь.

Я не заставила отца ждать, пулей удирая от его любовного шлепка и неизменной, звучащей вдогонку фразе: «Ай, улетела синей птицей, а я считал ее девицей».

Я впорхнула в спальню к маме, застав ее за уборкой волос. Вскочив коленками на жесткий топчан обняла маму и выхватив из ее рук гребень, тут же принялась за работу. Мамины волосы пахли ромашкой.

– Дочка, что нового ты открыла сегодня?

– Ма-а-ам, я узнала, что каждое живое существо чувствует боль. И растения тоже. А составление икебан это.. а-а... в общем оно подобно героической смерти воинов, не желающих стареть до смерти, а решившихся на подвиг всеобщей красоты... чтоб другие восхищались образом вечной красоты... фу-у ...боль ради других, понимаешь?

– Да.

– А еще, Танака сказал, что больно только вначале, и что

если не обижаться на тех, кто делает больно, то она пройдет и вскоре станет хорошо-хорошо. Я и сама это поняла. Мы играли в прятки, а когда мне выпало водить, все убежали от меня. И я заблудилась. Я ревела-ревела... Очень обидно ведь, когда тебя бросают. И еще страшно. Потом услышала, как Су смеется. Побежала на смех. Но его не было. Я разлилась на него и плача представляла, как нажалуюсь, и как его набьет за это папа. А потом вдруг вспомнила, чему учил Танака – не обижаться... мне сразу полегчало, я легла на бочок и уснула.

– Чудесный урок, Ми.

– Мам, а бабушка умерла от старости?

– Да.

– А ей было страшно?

– Не знаю, мне кажется, что ей было очень грустно. Она беззвучно плакала и повторяла: «Вот бы еще пожить, вот бы еще пожить...»

– А что, обязательно умирать что ли?

– Ромашка может цвести вечно в сырой земле?

– Не-е, ты что, она вянет.

– Так же и человек. Только он живет чуть дольше.

– Как нечестно...

– Брось. Ты этим обижаешься на жизнь. Вспомни Танаку. А я тебе еще один секрет открою. Ты можешь всю жизнь обижаться и жаловаться на людей, на судьбу и на что угодно. В таком случае ты всю жизнь пройдешь несчастной и озлоб-

ленной, к концу отчаявшись и проклиная старость, покрываясь язвами зависти при воспоминаниях молодости, думая...

– Мам, я не понимаю...

– Ми, Ми, Ми, – мать повернулась ко мне, взяла за плечи и пристально глядя в глаза сказала, – ромашка радуется жизни при рождении, ее убаюкивают соседние травы, защищая от ветра, когда она подрастает – ветер становится сильнее, но она полная энергии жизни, радостно отдается на его волю и закаляется в его порывах, когда она цветет – ничто не в силах омрачить ее сердце – ни нога путника, ни зависть подружек, ни превосходящей красоты сестренка-цветок. Она уже понимает скоротечность своего тела. И отцветая, не впадает в отчаяние увядания, а забыв о себе, наслаждается красотой и чудесами вокруг. Сначала она упивается загадочностью облаков и притягательностью звезд, потом непостижимостью ветра, дальше она радуется чувству единения со всеми растениями, будь то брюзжащие настырные сорняки или седые стелящиеся травы, а хоть и возмнившие розовые кусты, и следом она смотрит на себя – радостно, восторженно, и погружается в самый счастливый путь познания себя. Тем самым, отодвигая смерть – «пожить бы еще, пожить бы еще». Я верю, Ми, что это достойный путь – радоваться всему, и уж точно, ни на кого не держать зла.

– Ма, а бабушка жила, как эта ромашка?

– Конечно!

– А почему ей было так грустно, что она плакала?

– Я думаю, она изо всех старалась открыть счастливую жизнь мне. Но тогда я была злым сорняком. Хочешь, я расскажу тебе, что можно получить, если не держать зла на обидчика.

– Очень хочу!

– Только помни, это случится не сразу. Сначала поверь мне – все зло от несчастья. А после без усталости начни вопрошать. Как я могу помочь? И однажды ответ придет. Ты будешь знать, что нужно сделать. Знать, что делать – величайшее счастье. Завтра все мои дети будут отправлены в школу театра в столице. Все, кроме тебя, Ми. Ты долго их не увидишь.

– Зачем? Ведь здесь их дом!

– Папа очень любит тебя и боится, что они навредят тебе своей слепой жестокостью.

– Папа очень добрый, как и мой воспитатель Танака.

– Да.

– Папа ведь правильно поступает?

– Он не может иначе. Он слишком привязан к хорошему и плохому.

– Так он ведь взрослый, он же не может не знать?

– Может, Ми.

– Так скажи ему! Мам, ты же знаешь?

– Да, дочка, знаю. Я знаю, что именно сейчас нужно быть молчаливой и смиренной. Знаешь, как в круге называется точка, все радиусы которой равны?

– Центр, конечно!

– Умница, Ми. Чтобы не случилось и чтобы с тобой и вокруг тебя не происходило, помни – надо возвращаться к центру. Я в твоей памяти буду всегда напоминать о центре. Центр – наш с тобой разговор о счастье.

Тяжелые шаги по коридору оборвали нашу беседу. Мама приложила свой палец к моим губам и тихонько процедила сквозь зубы:

– Т-с-с-с, это наш секрет. Хорошо?

– Да, мамочка, я обещаю.

Е

Папа осуществил задуманное. Нас больше не удручали козни против меня. Не кому было кознить. Он часто играл и баловался со мной. И в этом круговороте радости и легкости, я стала забывать какой-то важный разговор, стеклянной сколкой застрявший в пальце. Отец, пожалуй, стал чаще, чем прежде дегустировать свой sake и порой смотреть в никуда, как бы немо вопрошая: «что идет не так?». Мама занималась хозяйством, вышивала или составляла икебаны. Когда отец был занят, а Танака уходил к себе, я присоединялась к маме. Она стала немногословной, реже улыбалась и чаще качала головой.

Под таким мирным соусом прошло несколько лет. Может пять или семь. Но всему хорошему тоже есть предел. Наше семейное благополучие разрубила пополам чудовищная размолвка между отцом и Танакой. В тот же день Танака сделал

харакири. Рядом с телом отец нашел его последнее слово.

*Стихи тихие, лица нежные.
Я сижу один, шелк в руке моей.
Кольца замкнуты – не мятежные,
Над чужбиной дня расстелю постель.
Как ты видимо жить пресытился,
То ли в облако тянет ношею.
Я грущу с тобой – ты обиделся,
А роса парит дикой лошадыю.
Кто же истинно сможет боль унять,
Над родной женой чары дерзкие.
Растворись во мне я смогу понять,
Подчини дождю думы мерзкие*

Отец стал бесконтрольно много пить и даже позволял себе иногда ударить мать или прикрикнуть на меня. В один из таких дней я вскочила на поджарого скакуна и во всю прыть поскакала прочь. Лишь бы куда подальше. Как ты смеешь кричать на меня? Саке совсем тебя отупил! Сжимая зубы, я поносила отца, негодуя уязвленным самолюбием. А мать? Как она терпит? Бедная, совсем затюкал. Нет, н-е-ет, я не такая, я... Я... Тут конь подвернул безотказную досель ногу и сбросил меня.

Хаос и неразбериха в голове долго звучали звонами-перезвонами, голосами-волосами, переливаясь цветными и черно-белыми пятнами. Когда я вернулась в мир – услышала от-

ца. Он плакал и причитал: «Прости, милая, все я, я, я...». Мать напоила меня травяными животворящими сборами, а отца успокоительными, потом наклонилась и прошептала: «Ми, ты сломала позвоночник. Доктор Хаяси сказал, что ходить больше не будешь». Я вновь потеряла сознание.

Отец стал чахнуть с каждым днем, без меры запивая горе sake. А напившись, распался непристойными выходками и всячески изводил мать за равнодушие. Во мне же поднималась дикая волна агрессии, смешанная с жалостью к самой себе и к матери. Я пыталась перестать дышать и умереть, но ничего не получалось. Мрак тюремной постельной жизни захлестнул меня до краев.

Однажды, в приступе белой горячки, отец схватил меч и стал махать им, обходя меня по кругу и как бы отпугивая несуществующих обидчиков. При этом он нашептывал что-то зловещее себе под нос. Этот безумный обряд продолжался бесконечно долго, наконец, он вымотался, присел и задремал. В эту минуту подошла мать с тарелкой рисовой каши. Отец в долю секунды вскочил и вонзил меч в горло матери. Я полусидела и отчетливо видела, как она завалилась на спину, с шумом выталкивая порции воздуха из носа. Отец заметался по полу и оглушительно заблеял бараном. Одной рукой прижимая рассеченную плоть к мечу, мать подняла подбородок и еле слышно прошептала: «Сэидо». Отец подполз к ней и жадно припал губами к остывающей руке. В еле слышном хрипе, текущем изо рта мамы вместе с кровью, можно было

разобрать: «Пожить бы еще, пожить бы еще». Безумие жестоко оставило отца в ту самую минуту, когда оно было более всего необходимо. Совесть жгла его пузырями, не позволяя поднять глаза на умирающую женщину. А зря. Быть может, тогда бы он знал, что следует сделать. Ведь знать, что делать – это ли не счастье? Вслепую нащупав рукоять меча, отец решил облегчить страдание жены.

Сэидо убрался в доме. Завернул госпожу Танабэ в одеяло и отнес в жилище Танаки. Облил дом горячей смесью и поджег. Пока огонь занимался, Сэидо последовал примеру Танаки-сан. Слишком поздно, поздно, поздно... А-А-А-А-А... Наконец, боль жизни померкла и нездешняя пелена разбавила желчь потерь спертым, но не обвиняющим светом.

Сосед Кимура ухаживал за моим потухшим телом и раздавленной душой. Мою поправку запустил именно он, сказав ничем вроде бы не примечательную фразу.

– Дал восточку в центр. Жди родню, Ми.

Центр, центр,... *центр*... как бы трудно тебе не было – не отчаивайся... чем могу помочь... Мама, ты все знала... знала?

Братья и сестры приехали через два дня. Они молчали и не отражали ни печали, ни удивления. Школа театра добавила в их лица пронизательности и ума, но едва ли изменила к лучшему сердца. Каждый плюнул в меня, не истратив при этом ни одной эмоции.

«Чем мне помочь вам?»

Бросив меня на телегу во дворе, они отправились спать. Тепло. Но жестко. Я кантовала себя, пока не свалилась выставляемыми локтями и ватными ногами на землю. Боль пронзила нервную систему и, пульсируя каскадами, пошла на спад. «Чем вам помочь?»

На утро Сугуру отвез меня в комнаты при монастыре. Там было с лихом, таких как я – инвалидов ума и тела. Отчаянная злоба жгучей кислотой выплескивалась из них.

«Чем я могу помочь?»

Кормили скудно. Не смотря на отравленный вкус к жизни, аппетит у большинства мучениц был неплохим. Я оставляла себе малые крохи, по очереди и справедливости распиливая и без того никудашную порцию для других. Поначалу меня считали полоумной дурой. Но уразумев некую систему в моих действиях, подкрепленных искренним желанием помочь, со стыдом на глазах покаялись. И стали называть доброй сестрицею. На радостях признания я отказалась от всей еды.

«Как я могу помочь вам?»

Е

...52 года жизни превратили Ми в сухую старушонку. Она неустанно твердила о смирении и о знании правильного действия. Не получая желаемого эффекта от просветительских бесед, она малость раздражалась непроходимой тупостью юродивых. Но не отчаивалась и безответно вопрошала рецепт вселенского счастья, завещанный ее яснознающей ма-

тушкой. Однажды, слушая истории несчастных сестер и сопереживая острыми сердечными иглами, Ми упала в глубокий обморок, твердя в забытьи лишь одно: «Как я могу помочь». На девятый день Ми замолчала. Кто-то поднес зеркало. Гладко. Ее уложили в поминальницу до утра.

Среди ночи душераздирающий вопль разорвал покойную удушливую тишину. Люди монастыря обеспокоились, стали шептаться и роптать. Сна более не предвещалось. После непродолжительного обряда кремации, убогие устроили мозговой штурм на предмет содержания крика. После получасовых потуг, прения остановились на следующем:

– Эй, Су, почему же ты не вышел? Мерзкий ублюдок!

Грязное ругательство, несвойственное деликатной речи Ми, расценили, как призыв сжечь мосты со своим «темным я». Дальнейший сакральный смысл, ввиду множества неизвестных, искать отказались. Но каждый, с кем Ми делила свою жизнь пополам, озадачился риторическим вопросом. Чем я могу помочь?

+1. Николай Боков

Велимир

В актовом зале детского сада «Колобок» было темно. Велимир любил темноту. Он арендовал это помещение для практических занятий со своей немногочисленной, но довольно стабильной группой. После совместной практики он часто оставался один. Заваривал крепкий кофе, садился в лотос и церемониально смаковал горячий напиток. Первый глоток. Чудесно! Вдоль окна, рядом тянулись силуэты миниатюрных стульчиков. Дети! Второй глоток. М-м-м-м! Справа у стены внушительно молчал рояль. Детство, как же ты восхитительно и мимолетно! Третий. Прекрасно! Вот дверь, ведущая к выходу наружу. А слева в груди сильнее замолотил моторчик жизни, должно быть от кофеина. В какую дверь он стучит? Куда ведет? С четвертым глотком новизна приятных ощущений вместе с желанной температурой кофе пошла на убыль. Что ж, все когда-нибудь заканчивается...

Велимир отставил чашку и понесся к недоказанным мирам медитации. Где-то на полпути он увидел старые штопанные носки, втиснутые между чугунными корявыми отсеками батареи. Он помнил эти носки с прыщавой юности. Тогда они тоже были старыми и штопанными. А появились они

на свет божий 23 февраля от рукодельных усилий его мамы. То был подарок его отцу. Велику же они достались по наследству, после того как отец погиб на стройке девятиэтажного социализма по нелепой, но типичной советской халатности.

– Вот, сына, носи – память отцова будет, – сказала Вера Николаевна и положила носки поверх раскрытого ученического дневника.

Велику тогда было пятнадцать. Тот самый возраст, когда порывистое уважение к матери-одиночке вытесняет личные предпочтения, способные поранить переживательную материнскую любовь. Веля зашел к себе в комнату и засунул носки в дальний ящик шкафа. Память так память, носить же необязательно. Подростки не страдают от переохлаждения ног – их ноги сводит зимой настолько, что ломота обморозки сменяется колючим онемением. Но они никогда не думают о возможной простуде и осложнениях. Им даже в голову не приходит надеть старые штопаные носки или шапку до десяти градусов мороза. Они должны быть на высоте во внешнем облике и манерах держаться. Показать на публике лохом в нелепой шапке или в гостях у Аленки Синицыной снять сапоги, выставив напоказ штопаную деревенщину – ну уж нет! В жизни подростка почти ничего нет, на что можно опереться, редко кто близок с родителями или свободен от мнений сверстников. Не носить зимой шапку и старые носки – это не фарс. Это точка опоры во внешнем мире. Так как во внутреннем – беспробудный кавардак.

Когда растешь без отца – приходится быть сильным. Если не сразу, то потом – в более взрослой жизни. Принято считать, что это происходит по причине раннего взросления (один ведь мужик в семье остался!). Но кто его знает? Возможно, отцы ломают сыновей несправедливой весовой категорией силы и слова, развивая тем самым комплекс неуверенности в себе. А нет отца – так и крушить характер некому. Матери такого, обычно, не умеют – не их компетенция. Вот дочурке в жизни напакостить – это запросто. А сыну – не-а.

Ну что ж, лежали, значит, носки в шкафу семь лет. Такие были времена – хочешь смейся, хочешь плачь. Берегли! Быстро развивался Велик, гнал свой ум вперед, точно спортивный велосипед, собственными усилиями прокладывая путь. Да нигде-то, а по взгорью. И вот, к двадцати двум годам Веля покорил свой первый пик – Машук и увидел много чего интересного, много чего глупого и великое множество несущественного. Вопросов к жизни, надо сказать, прибавилось. В смысле, конечно, количества. Но те, что остались – впились в мозг как гарпун в китовую плоть. И проклянулась тогда еще одна вершина – Казбек. Но для начала нужно было спуститься с Машука. Вниз всегда быстрее, чем вверх и настолько же сложнее удержаться на ногах, да что там на ногах – удержаться бы в принципе. И потащило, закрутило Велика на родину могучих вопросов. Ай да Велик! Так и как? Так! Так что не Велик уже никакой, а Чемпион Чемпионыч, в крайнем случае – Велимир!

Выдвинул Велимир ящик, перерыл содержимое и выудил оттуда отцовские теплые шерстяные носки. Свершилось! Больше не было необходимости морозить ноги и голову.

Теперь Велимиру было сорок семь, он сидел в самой удобной позе во вселенной и никак не мог вспомнить – куда запропастились его символические, а вместе с тем ужасно материальные и от того необычайно целостные отцовские носки. Как странно? Он не терял их и не искал. Они просто выпали из поля зрения столь естественным образом, что не возникло ощущения пропажи и недостатка. Как такое вообще может быть? Носил-носил, ухаживал за ними – аккуратно стирал, подшивал, сушил и вдруг – бац и нету! Ни носок, ни памяти о них. Он одевал их даже летом в резиновые сапоги, когда отправлялся в походы и в лес за грибами и травами. Не говоря уже о колючей зиме, обманчивой весне и промозглой осени. Сколько же он их не видел? Года два? Пожалуй, не меньше. Вопрос с носками встал в правый острый угол и требовал удара в девятку. Велимир чувствовал настоятельную необходимость в скорейшем решении. Очень важно и очень срочно! Слишком ценный клубок причинно-следственных связей!

Вспомнил! В маленьком фотоальбоме, стоящем на полке «колобковского» секретера нашлось нужное документальное свидетельство. Лето, природа, местечко близ Пестово, недельный поход с палатками, на переднем плане Велимир кидающий в угли картошку, сзади – старенький пассат-уни-

версал, а на его черной раскаленной солнцем крыше *они самые*. Сушатся. Поход в честь пятилетия группы радикального ЦИГУН. Вечером того же дня пришли местные нахальные увальни с деревни. Один из них попросил полтинник до среды, он же сказал, что вопрос, в общем-то, риторический. Понятное дело, сказал он это иначе, своими деревенскими словами. На что последовала разнообразная реакция учеников – кто раздражился, кто приготовился к нелепой стычке, а кто банально испугался. Велимир не стал торопить события, такая ситуация – отличный индикатор зрелости для своих птенцов. Федор Кучин, практикующий с Велимиром с первого дня, стушевался. А вот Колька Боков нет. Он подошел вплотную к деревенской мафии, улыбнулся, достал столярный столик и положил его в нагрудный карман.

– Братва, садитесь, у нас малость винишка есть – раскатаем, а потом поговорим о деньгах.

Мужики замялись во внезапном приступе человечности, от которого они сами по ходу опупели, так как лет сто его не встречали в своем окружении. Колян достал откуда-то гладкую, отполированную досочку, ловко расставил на ней комплект стограммовых стопок и как заправский бармен разлил вино по меркам; умудряясь в промежутках между разливом подкидывать открытую бутылку высоко-высоко в воздух, ловить ее с закрытыми глазами, и снова подкидывать.

– Ух ты! – вырвалось искреннее восхищение у мохнатого

гоблина с перекошенным лицом – от губы до глаза тянулся белый толстый шрам – верный признак семейного неблагополучия.

– Молоток, – неброско отметил Велимир. А про себя подумал – ну и ну, охренеть как круто!

– Шарлатан⁹, – сказал второй новобранец, тот, что похитрей и понаглей.

Впрочем, трюк Коляна оценили все.

Тостов не говорили. Велимир пить не стал – у него не оказалось желания. Федя, набравшись стойкости, родственной махания кулаками после драки, смело спросил у мохнатого:

– Что – на колчаковских? – и провел кривую от губы до глаза на своем примере-лице.

– Лошадь в детстве уе... ла, – не пропитываясь премудростями первопричин задавания вопросов пресно ответил Егорыч.

За его солдатским ремнем с надраенной до одурения блестящей торчала скрученная плеть. Ее рукоять была кривой, очень гладкой и приятно блестящей. Федя подумал – наверное так надо, чтоб кривая была. Коля решил, что Егорыч – неотесанная деревня. А Егорыч никогда не думал о такой ерунде, он ее не видел. Начищенная бляха – символ веры! Это не понты и не пижонство – это памятник армейскому маразму и долбо... му. И сей военный секрет известен всем.

⁹ Конечно же, по факту никакого «шарлатана» не было произнесено, это, пожалуй, ближайший аналог данного определения.

Но как бы там ни было, армию признают чуть ли не самой достойной школой жизни. Кузницей мужества и оптимизма! До седых волос вспоминают ее – чуть ли ни день в день. Тяжело, плохо, страшно, блевать охота от толчков, паленого спирта и одеколона под три аккорда – но так выходит, что кроме армии по большому счету и вспомнить нечего-с. Чтоб вспомнить, так вспомнить – с задором! Эх! Одна она была настоящая! Чтоб мужчиной крепким стать – надо армию сверстать! Так говорят некоторые, ставшие мужиками мужики своим горемычным женам, пьют по-черному, гуляют напропалую, бьют их за это и напоследок в неоспоримое доказательство своей мужественности ходят на зимнюю рыбалку или смотрят футбол. Надо же как-то смазывать мужицкие мокнувшие раны и спастись от необъяснимой ненависти к жизни! А еще дети... Дети для мужиков – это способ не сгнить душе заживо и иметь оправдательную надежду на лучшее, пусть даже это лучшее – организация родительских похорон.

Так... Бляха, значит, была блестящая у Егорыча, а Егорыч, стало быть, оказался пастухом... Вот ведь бляха-муха, получил копытом по роже – держался бы подальше от скотины, так нет! Пастух! Только пастух – это совсем не профессия. Пастух – это одиночество, пьянка и голод, в триединстве своем порождающие жуткую боль в груди. Спасибо *бляхе* – ее *блеск* сродни бальзаму на душу.

Второй просил наливать до краев – он так, видишь ли

«привыкши», не жалко ведь «говна такого». А Егорыч пил как наливали. После второй он стянул кирзовые сапоги, размотал портянки, понюхал их и повесил на зеркала машины проветрить. Ноги у Егорыча были какие-то рельефные и с наростами, отовсюду выпирали преувеличенные округлые костяшки, а сквозь дырявые носки без всякого стеснения выглядывали обугленного вида пористые ногти толщиной в полсантиметра.

– Махнемся? – кивнул Велимир на портянки, а следом на свои шерстяные носки.

– Давай! Смеешься, небось?

– Смеюсь, – ответил Велимир, смеясь, – но не шучу.

Егорыч довольно заулыбался. Как ребенок с мороженым. Боль в груди, боль в груди... да ну ее в жопу! Отличный мужик, – подумал он про Велимира.

– Ладно, нам пора, – сказал наглый, едва в бутылку залетел ветер, – полтинник-то до среды одолжите хоть? Не в службу, а в дружбу, а, мужики?

– Не надо ничего, – твердо как об камень стукнул Егорыч, – спасибо за угощеньице, не держите зла, если что.

Второй запричитал, замямлил чего-то, забубнил – а толку-то, Егорыч зашаркал по дороге, не оглядываясь назад. Прихвостень пометался-потерся, махнул рукой, с укором посмотрел на горожан, матюгнулся, и, не прощаясь, засучил следом.

– Коль, приветик.

– Привет, Велимир.

– Дело есть срочное, как только сможешь, закрывай все хвосты и мчи в Пестово. Егорыча помнишь? Пастуха?

– Помню.

– С ним что-то не так. Выручать надо мужика...

– Понял.

– Вопросы?

– Нету.

9. Жизнь седьмая. Россия 1500—1560 гг. Мужчина

– А ну заткнись, сука! Не голоси, я сказал!

– Тятенька, вы матушку простите, я ее попутал, я глупый черт...

– Степушка беги, сынок...

Выхватив из-за пазухи плеть, я точным хлопком огрел первенца по спине, свалив оземь.

– Не тронь ребенка, ирод...

– Не смей разявить, баба, – сильным ударом в левую скулу я уложил стерву на вереньки с репой.

– Маменька, молчите, прошу вас, тятюку ли не знаете? Изуродует нас – глазом не моргнет, будет с нас чучела огородные варганить.

Степке спину садило крепко, однако он не канючил. Гордилась им мамка и всегда внимала его словам. Голова у Степки что надо, смекалка как у отца.

– Господи, за что же наказание такое, – сглотнув металлическую слюну, стенала Прося, – Степ, прости сынок, ведь не хотела его злить-то. Гроза вроде сторонкой прошла, а молоко прокисло, вот и попалась под горячую руку.

Я страсть, как поперечины моему слову не люблю, а она сумлеваться вздумала, молоко пробовать зачала, во дура набитая, будто не знает, что лучше меня не заводить. Накипев-

шая злоба искала выхода и клокотала язвенным раздражением.

Крепостные усердно копошились в поле, искоса поглядывая на нас и мелко крестясь Богородице. Вот, дубины стое-росовые, за дурака меня держат... Ща вы у меня схлопочите, ща доберусь и до вас, окаянные.

– Ну что, дурила соломенные, помышляете, что проделки ваши мне ни к чёму, а? Али хитрость вашу простолудинову мне не осилить? У-у-у, навозники, хоронитесь, кабы сможати...

С плеткой я не разлучаюсь ни днем, ни ночью. Словно руку – чую каждый ее взмах. Как пошел крестьян охаживать, только тряпки заскрипели, наливаясь кровью да страхом животным.

– Что-о-о? З-зверушки мелкие, есть охота барина дурачить? Али будя?

– Смилуйся, Тарас Прокопич, Христом Богом заклинаем. Умысла дурного не носили, что глазели да крестились – то от страху стушевались. Знать, незаперво плетушку-то барскую испробывать. Вона с прошлой середи сесть насилу можем.

– Ну-ка челядь, на колени стать...

Отпускает вроде. Ф-ф-ух. Гараз мне по нутру поля мои широкие – горизонта мало, не окинуть враз.

– Ниже кланяться! До земли! Ну!?! Букашки сраные, вши земляные.

Больно девка мне одна приглянулась – грудастая такая, губы спелые.

– Эй, Серпунюшка, ладно ли пироги печешь?

– Как умею, господин, не мне судить.

– Что б на кухне моей засветло была.

В толпе мужицкой сверкнул яростный взгляд. Ой, не к добру.

Сердце мое загудело, забилося. Аж ладошки увлажнились от похоти. Мысли запрыгали: «Ну, девка, держись у меня... Лишь бы сама не опростоволосилась... Да не-е, не похожа на такую.. А хрен ее знает, все одна бабья порода, что им в башку втемяшится – не разберешь.»

Лихо запрыгнув на коня, я поскакал к Федору Васильевичу Соколову – вельможе главному по всей волости. Прыти коню не искать, добрый конь! Десяток миль проскакали за здорово живешь. Конюх выскочил как по заказу! Вот это я понимаю обхождение! Не чета моёму-то Данилке конопатому.

– Держи, Митроха, тебя учить не надо, шибко ты ловок!

– Тара-а-ас Про-ко-пич, вас за версту слышать, больно красиво скачете...

– А Сидор Витейников?

– Буу-у... тожа хорош, но не ровня вам... Вы-то коня как себя лелеете, да холите, а Сидор Самойлыч абы как, хрипят лошадушки-то его... а-яй. Вона на той неделе, захаживал ужо на новом скакуне. Я ему: «Сидор Самойлович, где ж ваш

Керес-то ретивый?». А он: «Не твое собачье дело!» И весь прям злющий стал, так и кипит лицом. А после-то, когда выходил – повеселел, хмель-то добрый видно. Говорит: «Помер Керес, да туда ему и дорога слабаку, новый-то спорчее – ураган, не конь!» А конь-то верный был, аж сердце кровью зашло...

– Тот ли, что золотом отливал?

– Тот, тот...

– Ух Сидор-Сидор... такого коняжку загубил.. бесшабашная башка... А я ведь трех крепостных за него давал – отказал гаденыш...

– То ли еще будет, барин. Мне-то не в руку – сразу прихлопнет старика. Ваше высочество – другое дело-с. Вас-то послушает. Ведь и эту-то животную ухайдакает. Потолкуйте вы с ним, дорогой Тарас Прокопьевич, ладный конь-то и ноне у него шибко... жаль бедолагу, что спасу нет.

– Что за конь?

– Черный в блеск, высокой, грива дымчата, – сжав кулаки и выпучив глаза рисовал Митрофан, – ну не конь – загляденье одно. Я ведь государю своему говаривал, а проку —то... говори – сам и слушай. Ему что конь, что кобыла... тьфу-ты... разговору тока.

– Ладно, старый, свижусь с Сидкой нынче. А что, Федор Василич-то? В духе?

– Песни поет да пляшет, ночь и день гульбанит – двойня народилась!

– Парни?

– Известно, парни! Девок-то, кому охота?

– Девок-то? – тут же представив грудастую молодку, я заторопился в дом. Поди пришла уже.

Тяжелая дверь в переднюю под моей рукою плавно поехала внутрь, звеня бубенцами. Звон-то и привел в движение барскую голову, сощурено поднимающуюся со стола.

– Добро здоровьице, слава наша – Федор Васильевич, неужто двух богатырей угораздило?

– Точно-точно, а ну заходи, Тараска, садись.

Утирая пересохшие губы, тихонько, точно не пуская острые мысли в больную голову, хозяин поднял руку и жестом приказал молчать. Бутыль с первачом опустела на пару кружек. Легким движением бровей Федор Васильевич заставил меня выпить. Залпом опрокинув самогон, я по привычке втянул носом оттопыренную навстречу верхнюю губу, ощущая горящие змеевидные сокращения внутри. Бодрящие такие сокращения...

– Ух-х-х, вот первач так первач, ну, Прокопич, говори – чё приперся-то? Ты ж так просто не заглянешь. А-а?

– От вас, Федор Василич, ничего не укроется. Да деревенька мне одна там... шибко по душе. Барин ихний там – ни мясо, ни рыба. Коль мне разрешение выпишите на скупку – ой наведу я там порядок... а вам польза одна – в два раза больше сборов выслужу. Шутка ли?

– А кто там хозяйничает?

– Микола Колесников.

– А его куда?

– Да никуды. Здоровье у него шаткое, на днях поди представится.

Федор Васильевич, несмотря на свое приличное опьянение, среагировал быстрым пронзительным взглядом.

– А Бога не боишься, Тарас Прокопьевич?

Моя рука потянулась к бутылке, а глаза, приподнявшись, спросили разрешения налить. Федор Василич, бывало скривив губы и стрельнув глазом, одобрительно кивнул. Маханули враз – хоть бы хны. Смотрю, а Соколова-то и не узнать – как огурец сидит. Видать похмело отпустило, а пьянь в ясной фазе заклинило. И вдруг меня ка-а-ак шарнет... БУМ-М-М-М-З-З-З... Будто бочку на голову одели. Шибануло меня крепко, ажно уши заложило. Сижу как олух, и слова не сказать. Федор Василич, похоже, разглядел мое отупение и пошел на выручку, плехнув в кружку до краев. Первач передернул затвор ума градусом и смелой одурью. Налили еще по одной. Наклонившись к кружке, я твердо взял ее зубами, обжигая губы и десны горячей смесью. Руки меж тем развернули сухонькое полотешко, на которое не должно упасть ни капли. Медленно, как во сне, я начал подымать кружку, аккуратно переливая ее содержимое в жертвенный сосуд. Запрокинув голову, я терпеливо стерек последние стекающие капли. Многие ломались именно здесь, на выходе. Капли, решающие исход поединка. Кому-то они стоили коровы,

а кому-то и усадьбы. Устремив щелочки глаз на хозяина, я принялся ждать сигнала. Когда он скрестил кулаки, я резко мотнул башкой, заряжая кружку энергией полета. Развернувшись под потолком она благополучно опустилась на умело натянутое полотенце.

– Тараска, а ведь мне твой фокус так и не дался.

– Накой он вам, Федор Василич? У вас и без фокусов все двери открыты.

– Вот что, Тараска, давай-ка на чистоту потолкуем. Давно внутри зудит про тебя, а вот и случай вышел. По-простому... как два мужика русских, а?

– Налить что ль, Федор Василич?

– Наливай, Тарас Прокопич.

– Р-р-р-р-р.

– У-у-у-у-xxx.

– Только вот что, Тарас, коль на чистоту, так на чистоту.

– ...

– Не понимаешь, да, Тараска?

– Не-а, ваше высочество.

– Наливай еще.

– ...

– ...

– Тебе прислуга твоя может душу открыть? – издалека начал Федор Васильевич.

– Что я – поп что ли?

– Во-о-о, то-то и оно, так ведь и я не поп. И как же нам

быть?

– А слово дать друг другу, – ляпнул я наугад.

– Како?

– Что разговор наш останется между нами.

– Верно. А щас мы просто два мужика. Ты – Тараска, а я Федька. Понял?

– Понял... *Федька*, – чуть опасливо глядя в глаза, ответил я.

– Вот и ладно. А теперь ответь мне друг-Тараска – ты в Бога веришь?

– Я так думаю, Федя, Бог нужен тому, кто в себя не верит до конца. Вот ты фокус мой, почему не одолел, знаешь?

– Так рвота открывалася на последних каплях.

– А что такое рвота?

– Ну... это... непроизвольная реакция организма.

– Чьего?

– Моего.

– Значит организм – твой, реакция – не твоя?

– Не моя.

– А чья?

– Организма моего.

– Выходит, ты свой организм контролировать не в силах, так?

– Ну, выходит что так.

– А может – ты просто боишься?

– Чегой-то?

– До конца дойти и ответить за все самому. Ведь гораздо удобнее отпустить поводья на волю Божию. А его воля – рвота, потому что твоя в него вера – страх. С верой в Бога можно дальше уйти, особенно если ты Федор Соколов. Но страх в Бога делает тебя забитым и напыщенным тюфяком. Он вызывает произвольные реакции, типа рвоты или еще чего. И тут спасает боголизество. И ты умасливаешь Бога своей нерушимой верой в него, основанной на страхе. И самое ужасное здесь то, что эта вера в виде страха постоянна. Она-то и делает человека лживым ничтожеством, потерявшим свое лицо. Вера в Бога – удобный путь, но на нем никогда не обретишь веру в себя. Убей я твоего Бога на твоих же глазах – чтобы стало?

– ...

– Федя, что уставился, как баран на новые ворота? Отвечай? – осмелев, напирал я.

– Я не знаю...

– А я знаю. Бога нет – бояться нечего, запретов нету. Пустился бы во все тяжкие, пока что-нибудь сотворенное не вызвало у тебя рвоту – твою собственную, произвольную. И если хватит сил выблеваться, не свихнуться и не прикрыться карой нового Бога, то останешься голышом. И все вокруг начнет отражать твое настоящее лицо, не искаженное верой в Бога. И ужаснешься тогда своей искаленной и извращенной душе, так далеко заблудшей на пути веры в Бога. Веры, порождающей страх. Страх, заботливо прикрываемый

лицемерной учтивостью. Я не боюсь бога – его нет в моей жизни, я знаю это. Я верю в себя, верю до конца, до самой смерти. И я тоже боюсь! Я боюсь самого себя, ибо вера в себя способна на что угодно. Но хотя бы я – *это я!* Понимаешь? А тот человек, кем я раньше был и кем себя считал, тот заправский мужик с дурными наклонностями – он исчезает, это всего лишь миф воображаемого Бога. Живой труп, не решившийся посмотреть в зловещее потрескавшееся зеркало своего нутра. Живые трупы повсюду. Это не люди, это призраки, ведомые животным страхом.

Федя сидел, вперившись в меня, будто на диво дивное. Я глядел на него. Он открыл было рот, видно что-то хотел произнести, но спустя пару вздохов сомкнул губы, вытянув их вперед по-утячьи. Потом встал и ушел куда-то, оставляя на своем пути дребезжащие волны грохота, тревожащие призрачную аудиторию домашних. Скоро он вернулся с бутылью самогона. Сел, разлил по кружкам. Механически чокнувшись, я прикрыл глаза, звук от встречных чашек гудел в моем сознании, точно набатный колокол, разбудивший спящего человека. Гудение это напоминало протяжное мычание коровенки и разливалось по всему телу одновременно. Где-то раздался голодный плач новорожденного, следом еще один. Федор поднял бровь и, округлив глаза, тупо уставился в полотно стола, то ли раздраженный, то ли сопереживающий позывам детской нужды. Он еще предпринял несколько попыток что-то сказать, но каждый раз, словно спохватив-

шись от пустоты слов, так и закрывал рот, шумя протяжным выдохом в нос. И тут же наливал выпить. Я смотрел на него и не узнавал. Да что же тут происходит? Кто этот человек? Ах, да-а-а. Это же Федор Соколов – глава своей волости, отец новорожденных близняшек, давний мой знакомый, безразличный к полу и окрасу лошадей. Как только бутылка опустела, Федька очень грустно посмотрел на ее доньшко, осознавая обидную для его положения временную неспособность к передвижению. После чего был вынужден опустить голову на стол, от жесткого соприкосновения с которым заскакала спасительная мысль, но ввиду неуловимой прыгучести ее так и не удалось расшифровать.

Едва держась на ногах, я вышел на крыльцо. Присел. Солнце пекло дико, морило по-черному. Не думая, я сполз на пол и затащил свою голову в прохладную защитную тень от скамьи, мгновенно забывшись крепким сном.

Е

Серпунюшка тем временем упражнялась с тестом, придавая ему причудливые формы. Кроме нее на кухне никого не было, ведь все знали, что барин вернется именно сюда. А кому охота высеченным ходить?

Серпунюшка была, как говорится, не от мира сего. А означало это то, что ее мало колышил этот вздорный мир. Теперь ей девятнадцать. Ее считают недоумкой только потому, что она не обсуждает в яростных проклятиях сволочных господ, а с ними не заискивает, как принято у всех остальных.

К тому же она все время шарит между ног – срамная блядуха. Кто презрение, кто жалость, а кто и безразличность примерял на нее. Все, кроме одного. Того, кто сверкнул яростным взглядом, стоило Тарасу Прокопьевичу призвать ее печь пироги. Того, кто не убоился ни хлыста, ни смерти и кто сидел сейчас под окном барской кухни, прикрывшись старыми половиками, служащими с некоторых пор подстилкой дворовым собакам. Холодный блеск луны, отражавшийся в серебристом предмете, заткнутом в расщелину наличника, рассеивал праведную жажду мести. Его звали Таймыр. И про него вообще никто ничего не понимал. Не потому что он был человек-загадка, пусть бы и так, но лишь по безразличию. Однажды барин привез на крестьянский двор изрубленное плетьюми умирающее тело, скинул на землю и умчал, откуда прибыл. Матрена примочками парня обложила да велела мужикам снести в баньку, в тепло. Осень же как-никак. Там, в черном закопченном предбаннике, закопченной дряхлой баньки по-черному так и остался жить нелюдимый темный Таймыр. В бреду он калякал что-то ненашенское, а как в себя пришел – так и замолк как рыба. Имя ему дала Серпунюшка, когда ходила к нему по вечерам держать свои шелудивые ручки на евоном узкоглазом скуластом лице. Была б здоровая – засмеяли бы, а эта дура и есть дура. Будя еще куда к нему ползет, там-то уж можно и посудачить. Но, увы, как не подсматривали за Серпунюшкой порядочные девки – ничегошеньки им заковыристого не перепало. Таймыр по-

правился раньше, чем показал. Ему пришлось хитрить, чтобы каждый вечер загораться лицом от солоноватых горячих ручек. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось притворство, если б Серпунюшка сама его не раскусила. Зашла как-то в баню, много позже обычного, как всегда тихонечко – как мышка. А Таймыра нет, только звуки из чуть приоткрытой дверцы слышны – кряхтенья болезненные да плеск воды. Смотрит Серпунюшка в щелку-то, а там Таймыр обмывается, при каждом движении сжимая зубы до скрипа.

А баня-то жаркая была, только стоплена. Благо мыться никому не удалось, потому что до глубокой ночи пожар тушили. Все из-за Прохора. Он осерчал на Мотю за то, что тот два мешка репы семенной украл. Масла в огонь, что впоследствии затеял Прохор, подлила его женка, сказав, что он не мужик, а фуфло. Прошка запалил хату Мотину и сразу женку разбудил. «Пойдем, – говорит, – за фуфло ответ посмотреть». Испуганная Катька как заголосит: «Ой, Прошечка, а ну спать скорей, чай кто прознает что...». Но не успела договорить, будучи сбита с ног прошкиной оплеухой...

Жарко. Скинула Серпунюшка одежонку свою и к Таймыру в баньку. Свет тусклой лампадки и прошкино мужество подарили Серпунюшке и Таймыру незабываемую яркую ночь чувственных таинств и наслаждений. Не будем о них говорить, дабы сказать что – что нагадить. Только в той ночи и закончилось все. Все между Серпунюшкой и Таймыром.

Серпунюшка, на следующий день после баньки, уборную

барина прибирала. Зинка-то, та, что обычно это делала – захворала. Да не так чтоб сильно, просто барин-то совсем свирепый, кашлянешь при нем – сразу в морду кулаком. Вот и пошла Серпунюшка. Прибралась, как следует и, зевая пошла любопытства ради на сеновал просторный поглазеть. Залезла в полог барский. А он огромный – человек семь спокойно влезут. Прилегла. А ночь-то не спавши, вот и *пишиши*... Проснулась от шороха, глаза открыла, а рядом, в десяти шагах Тарас Прокопич с кем-то обжимается. Голос у него совсем не такой какой-то, и сравнить-то не с чем. Зажгло у Серпунюшки в головушке да внизу живота. Все. Кончилось.

– Пойду я, Тарас Прокопич, а? – сказала та.

– Вали-вали, да помалкивай и спяну не ляпни чего, поняла?

– Мне ли не знать, батюшка, мне ли не знать.

И ушла. Тарас Прокопич заснул беспокойным сном, в котором все стонал да крутился. Серпунюшка подседа к нему и еле слышно плакала и топила-топила в своих слезах все душевные тяжбы своего барина. А после на две секунды прижала свои ладошки к обветренному, взмокшему лицу и едва коснулась губами чуть припухшего левого глаза. Когда она отклонилась – незримая нить от икринок слюны протянулась в его мятущуюся душу. А ее душа развернулась откровением: «Только ты, родной».

Теперь Серпунюшка была в его кухне. По совершенно определенной причине.

Таймыр время от времени бросал воодушевляющие взгляды на сверкающий в лунном свете металлический предмет, заткнутый в расщелину наличника. Серпунюшка легла на атаманку и прикрыла глаза. Думала о нем.

Е

Я очнулся у Федора Василича в гостевой. Терпеть не могу его гостевую. Угадав в полумраке профиль откупоренной бутылки, опрокинул часть содержимого в рот. Ф-ф-ф. Хлебнул еще. Самый раз, можно убираться восвояси.

Выйдя на крыльцо, обнаружил поздние сумерки, вместо предполагаемой черной ночи, чему приятно удивился в надежде застать Серпунюшку дома. Митроха вывел скотинку. Конь почесал голову о фигурные загогулины крыльца, как бы настраиваясь на старт, и понес меня прочь от Соколова.

Подъезжая к дому, я заметил металлический отблеск луны рядом с кухонным окошком. Влажность воздуха разносила аромат свежеиспеченных пирогов. Я зашел на кухню. На атаманке лежала Серпунюшка. Она смотрела на меня по-человечески, *без всего*. Неужто живой человек? Как я раньше ее *не видел*?

Серпунюшка поднялась на локтях, потом села, обхватив свои ноги руками. Она смотрела в глаз Тарасу Прокопичу, который тайком поцеловала на сеновале. Глаз был восхитительный, он так и лучился светом не от мира сего. Время пришло.

Запахло жженым. Таймыр, первым учуяв горелые пироги

и подозрительную тишину, высунулся на пол головы в окно. Это движение не осталось незамеченным для меня и Серпунюшки. Глядя на макушку Таймыра, Серпунюшка залилась искренним смехом. Я сперва хватанул плеть, но пораженный реакцией Серпунюшки, бросил ее на пол. Таймыр, от которого никогда слова никто не слыхивал, вдруг как ляпнет:

– Вы что совсем одурели? Не слышите что ли? Пироги горят! Запах дурной! Айгэ!

И как припустит драпака, оставив в расщелине наличника, сверкающую в лунные ночи сталь.

– Тарас Прокопич, пироги-то пожглися. С огнем шутки плохи.

Я поднял ее на руки. Наши тела синхронно завибрировали в каждой точке соприкосновения друг с другом, обмениваясь чем-то незримо текучим и нужным. Вот и навесная переправа на сеновал. Сеновал отдает легким привкусом мяты. Жженые пироги – горящие мосты. Скошенная мята – скошенная мята...

Утро, прорываясь криками петухов, тревожно ослепляет сердце. Серпунюшка давно не спит. В ее глазах покой. Она знает что-то важное про жизнь, что-то такое, что вытесняет страх. Я сжался в комочек и нырнул под ее грудь, встретившись носом с родинкой на ее солнечном сплетении.

– Я... я так...

– Чч-чч... не нужно объяснять. Ты боишься.

– Да, мне очень страшно. Почему ты не боишься?

– Потому что.

Слезы текли по ее животу. Я ощущал конечную точку своей жизни. Вера в любовь окатила жестоким страхом неминуемой потери. Я оплакивал свое будущее.

Прося прознала той же ночью. Считая связь мужа с полоумной девицей мимолетным увлечением, решила оставить все как есть. «Бабник он и есть бабник». Ей ли, русской женщине мудрости и терпения занимать? Но столкнувшись на крыльцах с чокнутой женой укололо подпорченное самолюбие пополам с неудовлетворенным желанием, которое муж предпочитает игнорировать в угоду другим. Сила презрения взгляда другую бы изничтожила. Серпунюшка же не опустила глаз, открывшись без страха и стеснения испепеляющему воздействию ненависти. Ошарашенная такой реакцией, Прося язвительно прошипела:

– Ну, как пирожки, милая, али полипли черным низом?

– Подгорели, сударушка, да вы не злитися так, я ж не нарочно.

– Неча барину всякий сброд есть, когда ватрушечка с творогом ажный день к столу.

– Да не любит он вашей ватрушки, пресная поди и края сухие, а то и творог кислый, грозою схваченный стороннею.

Через секунду Серпунюшку отбросило сокрушительным ударом в висок. Осколки кувшина, разлетаясь красивым вихрем разнесли запах едва прокисшего молока. Страшный визг огласил роковую случайность. То орала Проська, тряся ру-

ками и губами. Кто-то приметил, как мой кулак, словно молот, опустился на покрытую косынкой головушку моей жены. Серпунюшка лежала вниз лицом, левая рука и правая нога зашлись судорогой. Шея была теплая и родная, но пульс сонной артерии угасал, перетекая в чужие края. Ускользящая и очень главная линия жизни проткнула мое одинокое сердце и оборвалась. Смысл жизни превратился в точку, но затем и она исчезла, запахнув врата в ненавистный лицемерный мир людей. Время застыло.

Е

– Эй, ты меня слышишь? Тараска! Очнись, друг, это я Федор Василич... Эй! Да я ж это! Помнишь? Федька! Я вытащу тебя, ты только не молчи, слышишь?

– Да бросьте вы, Федор Василич, он уж неделю как воды в рот набрал, все пустое.

– Да иди ты... Это ж человек! Тараска! Тараска! Тарас...

Е

– Батюшки мои! Кого видать! Никак сам Федор Соколов, да без охраны, а?

– Добре, Петр Игнатьевич, как здоровье ваше драгоценное?

– А ничего, все ладом, ты-то как, дорогой мой Федор Васильевич?

– Не обо мне и речь. По делу я к тебе, Петруша. Выручай, брат, не в службу, а в дружбу.

– Дело ясное, что дело темное. А ну, пойдём-ка с тобой

в тихую залу. У меня там заморский самогон припасен. Ух... хорош!

Старые друзья плеснули заморского самогона согласно русскому размеру и зачали вспоминали молодость, общих знакомых и разности прочие.

Насытившись былыми темами, Федор Васильевич изложил суть ходатайства.

Через четверть часа принесли папку, в коей значились обвинительные статьи на некоего Стрепунина Т. П. и его же характеристика.

– Не из легких твоя задачка, Василич, дело темное-пре-темное...

– Да ну, брось ты, Петро, бытовуха рядовая – любовница, жена да муж.

– Бытовуха-то она может и рядовая, только человек-то твой – ой, как не прост. Пятен кровавых на его биографии – уйма. Вот слухай сам :

– пятнадцать крестьян без вести пропали за 9 месяцев – отклонено за недоказанностью, для выяснения доп. обстоятельств выслана комиссия из 3 человек;

– комиссия из двух чиновников и священнослужителя без вести пропала – отклонено за недоказанностью;

– в четырех деревнях, скупленных Стрепуниным, помещики-управители, накануне сделки скончались (донос, отклонено за недоказанностью).

И самое важное обстоятельство. Внимание, Федор Васи-

лич – состояние Стрепунина Т. П., а ну – смотри-ка сам... видишь?

– Да ну?

– Вот тебе и ну... Это, мой дорогой, совсем не шутки, в такие дела нос совать опасно. Бес с ними, с пропащими-то... Но деньги? Это ж *деньги*...

Федор Васильевич опустил голову в шапку и заскулил как пес.

– Господь с тобой, Федька. Дался тебе уголовник этот матерый. Эх... да не кручинься ты так. Вот что, я тебе клянусь, друг мой ситный, сделаю все что смогу. Уж от веревки-то отверчу парня.

– Ладно, Петр, спасибо и на том, вижу и впрямь дело серьезное. А хоть что про самого-то написано? Можно глянуть?

– Держи, читай, сколько влезет.

Вот что прочитал Федор Васильевич:

«Стрепунин Тарас Прокопьевич, 1500 года рождения. Родился в семье землевладельцев среднего уровня, был младшим из 10 детей. Отличался своей работоспособностью и мечтательностью. С детства любил строить грандиозные планы и продумывать план их реализации. Видя такие наклонности сына, отец очень рано отделил земельный надел и женил на работающей и красивой девушке. Дела очень быстро пошли в гору. Буквально за несколько лет достаток сына превзошел родительское состояние. Стремясь к первен-

ству и обогащению, никогда не считал работников и крестьян за людей. Скупая деревни и поселения облагал их жителей максимально допустимым налогом. Был необычайно жесток не только с крестьянами, но и с собственной семьей. Издевался и избивал своих домочадцев и прислугу.

В сорок пять лет завел любовницу из крепостных. Жена в запале ревности нанесла последней сильный удар молочным кувшином, в результате чего она скончалась. Разъяренный Стрепунин Т. П. нанес сударыне Стрепуниной тяжкие повреждения, а именно... Показания очевидцев...»

Федор Васильевич плюнул в сердцах, бросая бумажку на стол.

– Эх... Вот народ-то темный... Ну, бывай, Петр Игнатьевич, дай-то можа свидимся...

Е

Тарас Прокопьевич Стрепунин был приговорен к пожизненному заключению в одном из самых строгих спецучреждений России. В 1560 году Стрепунин умер. Лекарь, на доуге трепавшийся с охочими до шумных чужих историй людьми, не дрогнув, чиркнул заключение – от истощения.

Соколов каждый год навещал своего старого знакомого, а после его смерти добился разрешения на вывоз тела в родные края.

Местные жители до сих пор толкуют об ужасном человеке, жившем на их земле. Говорят, что на его счету не один десяток жизней, сотни калек и огромная куча нажитых преступ-

ным путем денег. Одно время прошел слух, будто бы львиная доля капитала покоится в его могиле. Раз пятнадцать потрошили место захоронения, но тщетно. А из-за тщеты искателей наживы взяла такая злость, что кованую оградку раздербанили на куски. А в оправдание правомерности своего варварства не поленились вбить вековой столб из дуба с выжженной надписью «Убивца и антихрист, не знать тебе покоя ни на небе, ни на земле».

+1. Николай Боков

Тугинская

Вероника изящными движениями расправила мокрые, непередаваемо вкусно пахнущие волосы. Ее движения и мимика были потрясающе – насквозь пропитаны осознанием собственной красоты и очарования. Белый мягкий халатик чересчур интимно соприкасался с неповторимым ландшафтом женских прелестей. Она прилегла на широченную упругую тахту, крепко сжав чувственные бедра. Вероника крепко-крепко сжала ножки и подумала об Игоре – он классный! Только почему-то сексуальные фантазии с ним не клеились, как-то не пошло. Она и с той и с этой стороны заходила – ноль эмоций, ну хоть ты тресни – слишком хороший что ли?

Прокручивая в уме детали их встречи, Вероника наматывала на свою голову, располагающую ко сну нить. Да так намотала, что манящую свежим ароматом чашечку кофе пришлось отложить – сон распахнул свои, не менее цепкие объятия и понес Верку в мастерскую абсурда.

Е

Чего только не делается во снах, какой только невообразимой чепухи там не переживешь! Допустим, у вас угоняют авто – вы жутко расстроены и носитесь по стоянке, а тут *тук* – нужно обязательно снимать штаны и трусы – то ли

чтобы машина нашлась, то ли для того чтобы не заметили отрицательные персонажи...

Резкая смена обстоятельств и декораций. Бежите от огромной, свирепого вида собаки, но собаку в этом деле не оставишь и вот вы уже сообща катаетесь кубарем. Она разевает громадную пасть, но кусает не больно и сразу понятно – хорошая. Друг.

Возвращение в первый сюжет. Машина нашлась, собаку с собой на переднее сиденье, только ехать тяжело, так как за время угона автомобиль изменил привод на педальный! Попробуй-ка полторы тонны раскочегарить!? Выбора нет, худо-бедно только разойдетесь, а тут нате – опять смена сюжетной линии. В кино сидите и с кем-то целуетесь, да настолько чувственно, что от перспективы голова кругом, а настроение отменное. И тут *бабах!* Это ж сон! И просыпаетесь на самом интересном месте, тьфу... Нет, но почему когда на машине педальной едешь – не врубаешься, что спишь? Или когда горло другу перерезаешь? Это, конечно, впечатляет, но нереальным не кажется, так... мелочи.

Е

Вероника стояла в прихожей дома детства. Она гляделась в зеркало. То, что ей отражалось – не лезло ни в какие ворота. Глаза огромные, черные, выпуклые; зубы редкие, желтые, прокуренные, во рту дымится сигарета (все-таки закурила! да как же это я?). Руки вялые, сухие, в синяках (я старая?). В зеркале на заднем фоне торчит сумка челнока Игоря, она

открыта, но что там – не видно. Но сон – на то и сон! Хоп... и глаза как будто запрыгнули прямо внутрь сумки. Ой, мамочки родные – это же наркотики! Где-то двадцать с половиной килограмм наркоты – что делать? Выкинуть? Не успею. Спрятать? Найдут и подставят. А Игорь-то – вот козел сраный, какой мерзавец, а? Так – думай, думай... Есть! Надо их оптом продать! Стук в дверь. Еще. Сильнее! Уже ломают! Беги, дура! На кухню. Дверь на защелку от котов. Нож самый большой – тесак, хм... раньше он казался больше...

– Ве-ро-ни-ка... Ве-ро-ни-ка... Ве-ро-ника...

Кто-то кричит как из подвала... Подвал, сырость, грязные газеты, запах дыма... *Дыщ-щ!*

Вероника вскочила на постели, вдыхая частыми обонятельными рывками воздух. Тест на пожар. Пахнет! Гарь! Из-под двери сочится едкий дым полимеров... Что спасать? Схватила тапочки и старую плойку... Да ну... не то... Куда? В окно?

ДЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ..... ДЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Вероника открыла глаза и схватила телефон. Кашлянула, пытаюсь создать бодрый голос.

– Але?

– Спишь что ли? – сказала трубка соседским голосом.

– Да нет... так, прилегла немного...

Задорнов приметил в самую точку – спать у людей днем считается почему-то зазорным. Все без исключения стараются мгновенно проснуться, чтобы не выдать греховного

времяпровождения. Почти всех моментально вычисля-
ют, потому что оттуда быстро не возвращаются, особенно,
если нагрянула старость и пожар одновременно.

– Прости, что разбудила. (Сначала упрекают, потом «про-
сти» говорят!). Я чего звоню-то, у тебя перец горошком есть?

– Что?! Перец!? Есть перец, как же без перца... А в уме
сказала: «Дура!».

– Давай я быстренько забегу, пока не спишь, а потом сразу
ляжешь, все, я бегу-у-у-у...

Пик-пик-пик...

Вероника не заметила, как сильно, до белых костяшек
сжала трубку. Холод неприятно прошил все нутро при вос-
поминании об Игоре.

– Вот ведь двуличная сволочь, наркодиллер фигов...
На часах шесть ноль шесть, а легла где-то в пять сорок. Тссс,
всего-то полчаса поспала и столько ереси намерещилось. Да-
а-а!

И махнула рукой.

– Чего? В челноки подалась что ли? – кивнула соседка
на сумку челнока.

– Ты за перцем кажется!?

– К-х-х, а ты такая *вумная*, да? Баба я, аль не? Ну-ка – по-
глядим, – тетя Света подняла подол засаленного халата, под
которыми торчали старые коричневые тряпичные колготки,
все в заплатках, стеганных толстыми черными нитками. Те-
тя Света провела рукой по лобку, развела руками, скорчила

брови и рот одновременно и грянула: « БАБА!!!»

– Очень уж мне мяска захотелось с картошечкой потушить. Помнишь, Верк, как раньше-то, а? Иль не было еще тогда? Пупсиком поди была? – привычно, но беззлобно подковыривала соседка.

– Да! Здрасьте – не было, – картинно негодуя, защищалась Вероника, – что я – девочка что ли? Конечно, помню – на все праздники такое ели – универсальное блюдо в десятилитровой кастрюле и салат с шубой и горошком...

– Шуба с горошком? Ты...

– Да ну тебя, тетя Свет! Шуба отдельно, оливье... э-э....

– Не хочу я без перца ись, там весь смак-то в перце! Перец, Верка, я тебе скажу прямо – основа вкуса! О! Ишь как умею... Учись! Приходи через часок-полтора – убедишься! А?

– На вот...

– Я откуплю, в лавку схожу завтра...

– Да, тетя Свет, откупишь... еще бы, а то на счетчик поставлю, не смести ты...

– Да я не ради денег, Верчик, тут другое – *принцип!* Ты мне – я тебе, дал – взял, баланс нужно держать, ясно тебе? Богачка!

– Ой, ну тебя, иди готовь, Луиза Хей...

– Да причем тут..., – обиделась по-детски напучив губки, тетя Света, – я Малахова ни одной передачи не пропускаю – вот он и научил. У-у-у, Человечище!

Тетя Света подняла указательный палец кверху.

– Большой человек!!! Не то, что мы с тобой – две клуши...

– Ой, было бы кого сра..., – и тут Вероника будто прозрела. – Дак, ты что ж... и мочу пьешь?!

– А что ж... если бы и пила, то что ж?

– Ну и как – помогает? – приснула в кулачок Вероника, не в силах сдержаться.

– А сколько мне дашь, ну?

– Пятьдесят пять – пятьдесят восемь. Так?

– Да сейчас, как же!? Седьмой десяток пять лет как разменяла... Пи-сят-во-о-осем, – передразнила тетя Света. – Будто не знаешь, сколько на самом деле?

– Лишь бы в радость, – многозначительно причмокнула Вероника.

– Да иди ты! Не пью я никакой мочи! Господь с тобой!

А... надо бы, все собираюсь-собираюсь...

– А чего смотришь тогда?

– Чего?

– Малахова!

– Во, даешь! Что ж ты думаешь там только про мочу? Эх, ты... У него ж целая наука в голове! Тоже мне, грамотейка!

– Это у него с тех пор, как моча в голову ударила? – улыбаясь, парировала Верка.

– А, ну ты... пошла я... Спасибо, Вер.

– Пожалуйста.

Вероника сладко потянулась по диагональной линии рук,

посмотрела на свои соблазнительные губы, в духе стрип-шоу расстегнула и пульнула раскрученный на пальце халат в тар-тарары и стала собираться на гулянку.

9. Жизнь восьмая. Россия 1608—1632 гг. Мужчина

Царская семья в начале 17 века провозгласила программу освоения Севера. Программа в первую очередь коснулась лучших представителей российских глубинок. Тех, что были не лишены мужского стержня разума, да прозорливой хватки строить новую жизнь среди дремучего северного люда. А на почести и барыши таким удальцам государство не скупились. И было отчего. Ведь не только морозом свирепым грозило такое направление. Молодцев сих в приказном порядке заставляли жениться на женщинах северных регионов. Царям виднее как Север поднимать.

От такого вот брака родился мальчик. Я. Николай.

Мою мать звали Минлу. Отца Гаврилой. Гаврила называл мать Мина. Мать во всем покорная и послушная сохранила в целостности и сохранности силу своего духа, который я впитал с ее молоком и монотонными напевами, никогда не звучавшими свыше края раздражения отца. Он не любил смотреть на свою жену, но когда это случалось само собой, Гаврила натыкался будто бы на покорившуюся его воле крепость, которая услужливо подставляет под ногу завоевателя все мыслимые ступени и двери, оставаясь при этом величественно непостижимой. Гаврила, являясь безусловной головой семьи и положения, испробовал много всего, но так и не смог пре-

одолееть задворок смиренной покорности, отчего-то совсем не затрагивающий тусклый свет внутренней свободы. Тусклый. А каким он мог еще показаться моему отцу? Ведь он даже и думать не умел о его природе.

– Дикари, одно слово – дикари.

И дабы не терзаться никчемными сомнениями, разлагающими слово «дикари», он редко смотрел на мать, ему было не по нутру это занятие.

И всю жизнь Гаврила Никитич Отеченков страдал и терзался, будучи хозяином небольшого поселения и всего *ихнего* хозяйства. Мечтал в предсонной тишине о красоте родного края и русской красавице, не желая принимать причудливые узоры северных земель. Слабый духом, он каждый день гнал отчаянье жизни стаканом самогона или кувшином браги, собирающей осколки его воли в кольцо верности государю и пользы отечеству. И жег чумы северян, дабы возвести правильные избы. И, может, ломал чьи-то неготовые к переменам души, запутавшиеся в сетях чужой культуры.

Минлу не была из их числа. Из их числа не был и я, зачатый скудным семенем моего отца и загадочной натурой моей матери. Я не пустил чужие устои в пылающее выюжным огнем сердце, научившись подчиняться лишь их формальному внешнему правилу. Правилу, которое также намеревался разорвать.

Когда я подрос до пяти лет и стал во многом сознательным, в отце проснулся дух наставничества. Он два года яш-

кался со мной, навязывая ход своих мыслей. В семь лет я выглядел в его глазах довольно тупым учеником. Но не это заставило его бросить воспитательную инициативу. А то, что как-то, пытаясь привить мне нечто, что могло бы сделать меня *человеком*, он напоролся будто бы на покорившуюся его воле распахнутую детскую душу, тут же опалившую его растерянный взгляд. Он отвернулся от меня и зашагал прочь, убедившись в моей врожденной волчьей дикости. Волчьей. Я это запомнил, ведь он частенько заявлял про меня так:

– Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.

Это утверждение я полюбил в нем больше всего. В четырнадцать лет, благословенный молчанием матери и узелком сухого пайка, я убежал в тайгу. Отец потерял мой след там, где тайга превысила порог его угрюмой решимости. Он успокоил себя очередным стаканом, давшим ему сносное оправдательное объяснение.

А я бежал счастливый и свободный, разорвавший путы притворной необходимости. Я бежал три дня и две ночи, разбавляя свой бег короткими перекусами и непродолжительными снами. Я чувствовал себя победителем, показавшим всему миру себя таким, какой есть. Свою бесстрашную отвагу, не сломленную натиском чужестранных мучителей. Я был горд. Я вспоминал наших земляков, тонущих в собственной слабости. Им не хватило решимости поступить также. Быть может теперь, шаткая почва под их ногами затвердеет залитая крепостью моего поступка. И вернет ве-

ру в нашу силу. Русичи лишь покрутят пальцем у виска, глядя на потешных северных чудищ, которые только и бубнят, что о безумце Кольке. Тот, что гонимый своей дурью, умчал в глухую тайгу на нелепую смерть. Русичи скажут:

– Дикари.

И сжав губы, разведут руками.

А наши улыбнутся, очищая забрызганный чужой грязью смысл, вкладывая в песнь обо мне остатки своей силы, отдавая непостижимое тепло крепости северного сияния души.

Какие они странные, эти русичи. Пьют горькую, чтобы забыться. Пьют, чтобы облегчить страдания и сердечную усталость, вызванную противоестественной формой ведения жизни. Идут, подняв хвост, на поиски золотого света. Идут, исполняя чужую волю безвольного человека. Идут по золотому дну, топча странными убеждениями дивный блеск, затеняя его ясные лучи бессердечными приказами, закрепленными жалким похмельным прессом. Прессом самого себя. Дикари.

Через три дня пути я набрел на жилище таежного шамана. Услышав мои шаги, он обернулся сначала головой, а потом и всем телом ловко перекинув ноги через окоренное широченное дерево, на котором сидел.

Я, излишне смущаясь, простовато сказал:

– Здравствуйте.

– Привет, сынок. Далек путь держишь?

– Куда глаза глядят, дедушка. Коль помощник вам сгодит-

ся, то у вас останусь, а раз нет – так дальше побегу.

– Я и сам справляюсь. А вот тебе ежели помощник нужен – оставайся, места хватит, а коль нет – беги, куда глаза глядят.

Мне очень хотелось остаться, но это означало признаться в своей слабости. Шаман отвернулся и занялся чем-то своим, давая мне время на размышление. Я уже было собрался рвануть прочь, как старик воскликнул.

– Тут лисенок один на меня свалился, все играть лезет, а досуг мне, своих дел хватает. Кажись, ему напарник помоложе бы... Да вот он...

Следя за направлением пальца, я увидел крошечного лисенка, сиротливо глядящего на меня. Не успел я улыбнуться, как он прыгнул мне на грудь и тут же отпружинил на еловую ветку, с которой кубарем скатился на землю. Я засмеялся, а рыжик кругами заносился вокруг меня.

– Он совсем домашний, около месяца со мной живет. Я его от волчьей пасти сберег, когда он еще на лапах едва держался.

– Он смешной.

– Да, смешной.

– Меня зовут Никола, а вас как?

– Зови меня Мунтахташ. Пойдем чай пить.

Я остался жить у шамана.

Мне нравилась эта жизнь. В ней было полно звуков тишины. Мне нравились сказания Мунтахташа, имеющие бес-

крайнюю силу, уходящую вглубь небес. Мне нравились наши танцы, наполнявшие меня чудным покоем и блаженной радостью. Мне нравилась крайняя близость к чему-то удивительно простому. Я жил и чувствовал себя живым каждый миг. Сон и явь обрели прочную связь. Слова стали редкими, тяжелыми и блестящими, подобно золоту. Смех стал частым и озорным. Боль открыла свой секрет и позволяла в себя войти. Скользя по осенней багряной листве кротким взглядом, я чувствовал вкус росы на кончике языка и запах надвигающейся зимы, щекочущей мои ноздри. Природа приняла меня, а я полюбил ее как мать.

Я обожал во всем помогать своему воспитателю. Мунтахташ говорил, что я в свои молодые годы уже достиг неплохих результатов. В двадцать три я твердо стоял на ногах, научившись при этом едва касаться матушки-земли. Зима выдалась особо долгой и суровой. Я еще не видел такой смертельно-голодной зимы для зверей и птиц. Каждый день я носил в норку рыжика что-нибудь съестное. В норку того баловного лиса, с кем я дружно провел свои лучшие годы. Теперь он остепенился и обзавелся семьей, но мы по-прежнему были друзьями.

Однажды я проснулся в тревоге, наспех оделся, схватил лук и побежал к лисьей норе. Издали я увидел грызню волков, делящих свою добычу. Остервенелая жгучая ярость их глаз просочилась в мою грудь нестерпимой болью, требующей мести. Ноги обмякли и опустились коленями на землю.

Тетива свистнула два раза. Один из волков заскулил и завертелся, остальные ринулись прочь. Им повезло, они неплохо перекусили. Только одному завтрак оказался не по карману – пришлось расплачиваться жизнью.

На следующий год после того драматического события я затеял одно рискованное предприятие с переходом в пятьдесят верст. Стоит заметить, что Мунтахташу оно изначально не понравилось решительным образом. Но я был неумолим. С точки зрения выживания эта идея оказалась прескверной. Во всяком случае, для меня. После утомительного 22 дня пути я устроил ночевку прямо под носом моих старых знакомцев – волчьей стаи. Как такое могло случиться? Я проснулся, разрываемый на куски клацающими челюстями зверей. Острая боль выбросила сознание за пределы тела. Мои убийцы работали быстро и качественно, не оставляя любителям падали и скромного пайка. Никакой солидарности. Вендетта так вендетта.

+1. Николай Боков

Егорыч

– Ну, что, Микола, когда обратно думаешь?

Коля шумно глотнул воздуха, шумно же его выдохнул и под цепким взглядом Анатолича неопределенно пожал плечами.

– Не знаю, Денис Анатольевич, как карта ляжет.

– Да в масть у тебя все – дай Бог и дальше так. Ты смотри, Николай, меня часов в девять загрузят и в путь. Могу и тебя подхватить, если что...

– Спасибо. Я бы и рад справиться к утру. Но, такое дело, – Коля тянул с ответом, оценивая предложение, – я ведь, скорее всего обратно не один поеду...

– С барышней, уж не свататься ли на ночь глядя? А-а-а, – тут Анатолич дал себе по лбу ладошкой, – ты невесту выкрасть хочешь. Вот оно что!

Коля рассмеялся. Просто так рассмеялся, по-доброму, так, что понятно окончательно стало Анатоличу – хороший парень!

– Эх, если бы, Денис Анатольевич... Если бы невесту... все куда прозаичнее, – Коля внезапно решил открыться, – пастуха местного еду выручать. Беда с ним какая-то приключилась или вот-вот случится – надо помочь человеку.

Коля глянул на водилу, водила на Колю. Коля понял, что рассказ его не супер как складный вышел. Анатолич почувствовал, что Коля говорит правду, и не стал копаться в странностях и мелочах. До деревни, где Коля попросил остановиться, ехали молча.

– Пиши телефон. И не стесняйся – звони. На то мы и люди, чтобы помогать друг другу, понял?

– Спасибо, Денис Анатольевич...

Тут Коля хотел еще что-нибудь добавить. Что-нибудь такое зычное и глубокомысленное, навроде: «Не перевелись еще мужики на Руси!». Но глянул Анатоличу в глаза и понял, что все это лишнее и ненужное дерьмо. Таким как Анатолич ничего дополнительно объяснять не нужно. Просто вложил все тепло в рукопожатие и пошел своей дорогой.

– Чудной, – себе под нос диагностировал Анатолич, – и как заголосит на всю катушку...

Минут через пятнадцать он въехал в живописное местечко, окаймленное сосновыми борами и пропитанное чистейшим хвойным ароматом.

– Пестово!

Легкие заработали как перед смертью, голова приятно закружилась, память напрягла все силы, чтобы запомнить вкус провинциальной чистоты момента. «А не продать ли мне квартирку и не забросить ли работу? Да жить сюда! Река, лес, банька!»

Анатолич глубоко и очень как-то гармонично задышал

и уже всерьез решил приступить к детализации этой идеи, но дорога начала дробиться на развилки и перекрестки, требуя к себе особого внимания, да такого, что «размышления у парадного подъезда» пришлось отложить. А тут и почта. Работа. Люди-коллеги. Простые все, как три копейки. Душевно! Одно слово – деревня!

Е

Товарищ Боков в это время сидел в душежной вонючей хибаре Егорыча и пытался собраться с мыслями. Егорыча то рвало, то крутило, то трясло, то еще как колдорило. Лицо отливало зеленью, черные круги под глазами зияли как колодезные дыры. Боли и спазмы в желудке стягивали в сплошную гримасу и без того усеченное шрамом некрасивое лицо. Гной в углах глазниц, белые сгустки слизи на губах, кровавые подтеки и прочее в подобных красках – так нынче выглядел Егорыч. Коля вспомнил пастуха из «Алхимика». Да уж... Наш ковбой не был так романтичен и неутомим в своих поисках. Эх, Коэльо-Коэльо, что ты знаешь о русских пастухах? Так, ладно, надо что-то делать.

Коля достал из рюкзака аптечку. Выпотрошил восемь таблеток угля, пару аспирина и 2,5 грамма аскорбинового порошка. Растолок таблетки на деревянной дощечке при помощи замызганного стакана и растворил в литре ригедрона. Достал пачку желудочных пилюль и выковырял две штуки.

– Эй, ковбой!

– Чо?

– Иди сюда.

Егорыч подошел. Сил противиться у него не было.

– Сейчас у тебя переломный момент – или сдохнешь, или нет. Если выпьешь и продержишь в своем поганом желудке полчаса – будешь жить. В других случаях – передавай привет моим предкам – Бокову Герасиму Ивановичу и его супруге Анастасии Павловне – ясно?

Егорыч едва мотнул косматой башкой.

– Держи, – Коля протянул заряженную активными элементами банку и две противоязвенные таблетки.

Как только Егорыч расправился с содержимым, а длилось это добрые сорок минут, раздался звонок. Звонил Денис Анатольевич.

– Ну что, Колян, готов обратно?

– Да. Только сверните в деревню. Последний дом по левой стороне со сломанным зеленым забором.

– Так точно! Будет исполнено!

– Спасибо!

Коля обвел усталым взглядом ветхую лачугу – зацепиться было не за что. Зашел в переднюю. В левом дальнем углу висела икона – *Неупиваемая чаша*.

– Эй, Егорыч, ты в Бога веришь?

– Да пошел ты на... вместе со своим Богом...

– Понял. А чего тогда икону вывесил?

Егорыч плюнул в ведро с помоями и вышел на крыльцо. Уселся прямо на пол и принялся тяжело дышать предрвот-

ным образом. Коля сел рядом, на скамейку. Так и сидели. Коля щелкал семечки, а Егорыч шурил глаза и вздыхал.

Спустя некоторое время послышался заунывный ход 53-го. На деревенской дороге, полной неустановленной глубины луж и ухабов он был вне конкуренции. Мотор урчал, скрипел и переливался механическими трелями и раскатами, заполняя пустоту внутри двух людей, понуро сидящих на крыльцах. Хотя утро выдалось дивное. На сирени, растущей прямо в палисаднике перед домом разместились мохнатые... А что толку говорить? Никого это не интересовало.

Анатолич подрулил к дому, врубил заднюю и «жопой» подпер крыльцо.

– Здорово, мужики!

Егорыч собрался в кучу и через большое «не хочу» поздоровался за руку с Анатоличем.

– Привет, Денис Анатольевич! – Коля просиял-таки благодарственной улыбкой.

– Ну что, братцы, помчали в *ба-альшой* город?

– Я-то вам нахрена? – еле слышно промямлил Егорыч.

– Давай не бухти – залазь в фургон, гастролером шапито будешь, – как ни в чем не бывало, отреагировал Анатолич.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.